ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЯ

CHALIDZE PUBLICATIONS 1981

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЯ

ИНТЕРВЬЮ ВАЛЕРИЯ ЧАЛИДЗЕ

С

ТАТЬЯНОЙ ЛИТВИНОВОЙ
ВИКТОРОМ НЕКРАСОВЫМ
МСТИСЛАВОМ РОСТРОПОВИЧЕМ
ВЛАДИМИРОМ МАКСИМОВЫМ
ЭРНСТОМ НЕИЗВЕСТНЫМ
ТАТЬЯНОЙ ХОДОРОВИЧ
НАУМОМ КОРЖАВИНЫМ
ВЕРОНИКОЙ ТУРКИНОЙ
ЛЮДМИЛОЙ АЛЕКСЕЕВОЙ
ЛЕОНИДОМ ТАРАСЮКОМ
АЛЕКСАНДРОМ ЕСЕНИНЫМ-ВОЛЬПИНЫМ

CHALIDZE PUBLICATIONS 1981

THE RESPONSIBILITY OF A GENERATION

edited by Valery Chalidze

A collection of interviews with:

Tatiana Litvinov, Victor Nekrasov, Mstislav Rostropovich, Vladimir Maximov, Ernst Neizvestny, Tatiana Khodorovich, Naum Korzhavin, Veronika Turkina, Ludmilla Alexeyeva, Leonid Tarasyuk, Alexander Yesenin-Volpin

Copyright 1981 © by Valery Chalidze

Published by Chalidze Publications
505 Eighth Avenue,
New York, N.Y. 10018

Manufactured in USA

СОДЕРЖАНИЕ

Татьяна Литвинова 7
Виктор Некрасов 32
Мстислав Ростропович 47
Владимир Максимов 56
Эрнст Неизвестный 74
Татьяна Ходорович 77
Наум Коржавин 86
Вероника Туркина 96
Людмила Алексеева 102
Леонид Тарасюк 126
Александр Есенин-Вольпин 136

ПРЕДИСЛОВИЕ

Этот вопрос скрыто волнует многих, но не многие находят смелость признаться себе в этом и тем более смелость следовать этическому чувству, чувству сопричастности каждого к тому, что делается в стране и в мире.

Мне приятно, что мое поколение было ближе к осознанию своей ответственности, многие из моего поколения гласно об этом заявили, не считаясь с трудностями, идя навстречу страданиям.

Гораздо легче, вместо осознания своей ответственности, искать оправдания, обвинять других: *я бессилен, это не мы, это они виноваты.* Кто *они* – обычно неясно. Какие-то большевики, какие-то партийцы, в общем – *не мы.* Дошло до того, что русских эмигрантов бесит, когда западные газеты пишут "русские солдаты вторглись в Афганистан". Дескать, не русские, а советские, т.е. *они.* Это ли не уход от ответственности?

Увы, будь это солдаты, партийцы, интеллигенты – это те же русские, украинцы, грузины и прочие, это те же мы. Не пора ли оставить детскую игру в "немцев и наших"?

Я не имею в виду, что каждый должен терзаться чувством вины за то, чего он не совершал. Нет, я говорю о конструктивной ответственности, об активности противостояния злу и бесправию, а не о слезливом покаянии за грехи отцов и соседей.

Я думаю, эта книга будет полезна тем, кто не боится всерьез задуматься о судьбе своей страны. Здесь представлены мнения тех, у кого есть чему поучиться. Все они принадлежат к поколению людей, ставших взрослыми еще при жизни Сталина, к поколению, хлебнувшему рабства несравненно больше, чем мое поколение. У них разные мнения, разные судьбы, разный вклад в добро и зло своего века.

Их опыт отрешения от рабства, я думаю, поможет многим.

Март 1981 г.

Валерий Чалидзе

ТАТЬЯНА ЛИТВИНОВА

Мое развитие – в осознании происходящего – было, вероятно, замедленным вследствие привилегированных условий, в которых я росла. Мой отец, Максим Максимович Литвинов, после свершения революции, в подготовке которой он принимал деятельное участие, был "ответственным работником". Первое обстоятельство – его подпольные приключения – мне очень импонировало все детство и отрочество (и, возможно, окрашивает мое восприятие и по сю пору). Второе – с очень раннего возраста вызывало чувство неловкости. Поэтому хочу сказать несколько слов об ответственности революционера и ответственного работника, прежде чем перейду к своей собственной.

Безусловно, отец мой, как и большинство его соратников, как, я считаю, и Ленин – хотели просто лучшей жизни для страны, для народа своей страны. И здесь можно добавить, что пошел он смолоду в движение именно в силу ощущения ответственности за общество, в котором находился. Намерения были самые достойные, можно сказать. Несет ли он ответственность за все последствия Октябрьской революции?

Можно ли сказать, что произошел в какой-то момент переворот, исказивший всю идею, или нет? Я не знаю, я недостаточно думала и не имею

тех органов, которыми думают на эти темы. Делит ли он ответственность за все, поскольку он был высоким должностным лицом? Безусловно. Ибо, если он знал, что творится, и не принимал этого, возмущался этим, он должен был выйти в отставку, не поддерживать это, сделать какую-то демонстрацию хотя бы... Если же считать, как я верю, что всего объема того, что творилось, он не знал и не осознавал, это тоже не оправдание, потому что он должен был знать, осознавать. Он же сам взял на себя какую-то ответственность за все.

Могу в связи с этим рассказать следующий анекдот:

Помните – впрочем, Вы были маленький тогда, да и были ли Вы вообще? – колоссальный успех фильма "Чапаев"? Говорили, что Сталин смотрел его 18 или сколько там раз. А этим, собственно, и определялся успех фильма в те времена. Авторы фильма – братья Васильевы. Они делали этот фильм как очередной и, когда узнали об этом успехе, сказали, что, если бы знали, что так получится, постарались бы сделать фильм получше. Отцу при мне это рассказывали, и он несколько меланхолично сказал: "Вот и мы так, с революцией".

По его словам, удача переворота застигла их всех врасплох – активно его подготовляя, он и ему подобные думали о нем, как об еще одной попытке – вроде декабристов, 1905 года и т.д. К *осуществлению* власти они, как я понимала со слов отца, готовы не были.

Что именно он вкладывал в "лучше" в этом случае, не берусь сказать.

Но я считаю, что отец несет ответственность не большую, чем любой из нас. Я несу точно такую же ответственность. Да, я жила в это время. Ведь все в той или иной мере существовали каким-то самообманом. Нельзя сказать – вот, я не знал, я не чувствовал, вот я в таком-то году узнал то-то. Напротив, чем больше я думаю и вспоминаю себя, тем больше я вижу, что возможно было существование в двух фазах сознания все время. Ведь были же все-таки люди, которые не принимали. Очень мало, но были. Те, которые это принимали, должны расцениваться иначе.

Было ли бы объективно лучше, если бы отец устранился и на его месте оказался менее блистательный дипломат, это другой вопрос. Думаю, что нет. То, что он делал все для того, чтобы не было войны, все равно очень хорошее дело, по-моему.

Все делят ответственность? Ахматова?

Да, я думаю, что да. Здесь у нас с Вами может быть некоторая путаница в оттенках смысла слова "ответственность". Я не употребляю его в качестве полного синонима слова "вина", а скорее я говорю о той или иной степени осознания последствий собственной позиции, причем нулевую степень осознания я сейчас трактую как некую степень, а не как простое отсутствие. Ахматова не только делит, но она и приняла на себя ответственность какую-то. Я считаю, что вся ее куль-

турная деятельность – это принятие ответственности, ее стихи, она сделала все, что могла. И тем, что она там осталась, тем, что она не эмигрировала, она приняла на себя ответственность.

Т.е. каждый, не эмигрировавший из страны с плохим правительством, принимает на себя ответственность?

Безусловно. Когда я говорю – принимает, это не значит, что он отвечает перед законом каким-то. Все равно, любой поступок – это принятие ответственности. Эмиграция – это тоже принятие ответственности. Это осознанный поступок, выражение своего отношения к чему-то. Вот она считала, что ее место было, по ее словам, – "там, где мой народ, к несчастью, был..."

Конечно, всякий... Господи, Боже мой, я в какой-то степени виновна в раскулачивании! Я сейчас вспомнила. Мы были в пионерском лагере, мне было 12 лет. И то лето проходило под знаком сбора тары, потому что урожай, видите ли, есть, а хлеба нет, потому что нету тары. Мы должны были ходить по деревням и выпрашивать у крестьян мешки, что мы и делали. И если в каком-нибудь дворе не давали мешок, я писала, что я думаю, что он кулак или подкулачник. Притом не из страха. Я даже точно не знала, что такое кулак или подкулачник, но – враг, который не дает мешков.

Мне интересен вот этот неожиданный тоталитарный взгляд на ответственность. Ребенку 12 лет, его научили требовать мешки или пи-

сать, что это кулак, не объяснив, что это такое, не объяснив последствий. Если бы Вам сказали, что человека за то, что он Вам не дал мешков, расстреляют, Вы бы написали это?

Думаю, что нет. Но не знаю. Я еще одну вещь Вам расскажу, это уже к делу Рамзина относится, год это был тот же примерно.

Я училась в школе имени Радищева, собрали митинг и сообщили нам о страшном преступлении Рамзина, как он хотел навредить, уничтожить нашу молодую страну, и я была возмущена. И мы пошли на демонстрацию (мне было лет 11-12), несли лозунги "Смерть предателю!" и пр. На следующий день собрали митинг и объявили нам, что помиловали Рамзина. И вот тут я рыдала неостановимыми слезами, и ко мне подошла школьная учительница и сказала: "Я не знала, Танечка, что ты такая кровожадная". Она совсем не сука была, наоборот (по-моему, у нее даже крест висел на шее, она преподавала литературу). Она, вероятно, была очень рада помилованию.

Но как она ребенка могла назвать кровожадным, когда накануне она была частью тех, кто заставлял вас голосовать за смерть?!

Ага! Вы сказали "частью тех", т.е. считаете ее ответственной. Но она лишь присутствовала на обоих митингах, и, я думаю, ей горько было видеть мои слезы, о причине которых не догадывалась.

Конечно, я плакала не оттого, что хотела его

смерти, я тут поняла, что меня обманули. Это я очень хорошо помню. Но в общем получалось, что я плакала оттого, что человека не убили.

Вы плакали оттого, что Вами играют.

Да, да. И Вы понимаете, что получается? Что бьют, бьют по башке, вот были эти слезы, я что-то очень кардинальное поняла, но все равно продолжалось то же самое.

Хорошо. Вы требовали кого-то расстрелять, Вам было 9, 10, 11 лет. Вы знали, что такое – расстрелять?

Ну, наверное, нет. Убивать, вероятно. (Но я и смерть не понимала. Кстати, первая смерть в моей жизни была – Ленина. Это значило для меня, что теперь он "как Пушкин".)

Вот я не очень хорошо понимаю, что гуманнее – заставлять детей нести лозунги с требованием расстрела или признавать детей ответственными за участие в расстрелах, если эти лозунги привели к результатам. А на самом-то деле эти лозунги ни к каким результатам не приводили – решения о расстрелах бывали приняты раньше лозунгов.

Я понимаю.

Мне жутко – это чувство разделения ответственности. Я думаю, это не столько Вы, сколько Ваше как бы нежелание ни на минуту ничего с себя снять, Вы, наоборот, перенаваливаете на себя...

Ладно, кончим с детством. В каком возрасте человек начинает отвечать за что-то вообще?

По-сталински, с двенадцати. Именно из этого Вы сейчас исходили.

Нет, не из этого. Это как складывалась личность в общем, характер, реакции, это входит же и в дальнейшую личность, уже во взрослую в какой-то степени.

Ну, как сказать. Вы были уже научены, что если Вы сегодня за расстрел, то завтра Вас могут обмануть. Все не так однозначно. Опыт у Вас уже был. Голосовали ли Вы за смерть во время Бухаринского процесса? Представился ли Вам случай?

Нет, не представился. Сейчас я скажу, когда я сознательной стала, когда я поступила в институт, лет в 17, и чуть ли не в первый день я пришла, и там было собрание, где прорабатывали детей, у кого кто-то был репрессирован, и какой-то парень бил себя в грудь и признавал своих родителей врагами. И тогда я почувствовала абсолютно бешеное к нему презрение. Понятие о добре и зле у меня уже было определенное. Мне было тогда 17 лет.

Я чувствовала, что это – подлость. Но все равно, я же не вышла из комсомола. Это уже ответственность, я участвовала.

Была ли Вам достаточно ясна картина того, что комсомол – это полностью, стопроцентно, часть той силы, которая репрессировала родите-

лей и заставила этого мальчика осуждать своих родителей?

В том-то и дело, что нет. Я Вам скажу, когда впервые, сама для себя, удивившись, я что-то сформулировала. Во время войны я работала переводчицей в Информбюро, притом это был период, когда у меня был некоторый патриотизм, возродившийся из-за войны, и я восстановилась в комсомоле. И уже была в партийном возрасте. И там образовались кружки сочувствующих, нас готовили подавать в партию. Я раза два ходила и потом очень ясно поняла, что если вступлю в партию, то это значит, что я подписываю приказы о расстрелах людей. Вот это я просто сама вдруг, совершенно неожиданно для себя, сформулировала. Это мне было уже 23-24 года. И я просто ушла из Информбюро. Да, это запоздалое развитие.

Я считаю действительно, что, может быть, самое трагическое поколение – мое. Потому что поколение отцов одной ногой стояло в XIX веке, в культуре того века. Они, разрушая этот мир, в себе еще несли какое-то мерило, хотели или нет. Нас, наше поколение, они этого мерила лишили. Оно возродилось только в вашем поколении. Правда же? Поэтому наше – самое страшное поколение.

Во-первых, мы оскоплены были этически. А второе – были убиты: убиты войной, ведь это наше поколение поубивали. Не только войной, конечно, но террор все же больше коснулся старших, чем моего поколения. А война – вот это как раз мое поколение. Вы знаете, у ме-

ня ведь очень мало знакомых мужчин – ровесников. И мне очень интересно бывает встречать ровесников-мужчин.

У Вас все-таки склонность говорить об убитых. Как насчет убийц? Сталкивались ли Вы с ними?

Сталкивалась. Например, вот парень, секретарь комсомольской ячейки. Это он, вопреки воле большинства институтской организации, исключил Ирму – чистейшее существо – из комсомола. И знаете, за что? Она просила в святой наивности своей именно комсомол помочь ей вступиться за ее арестованных, как она считала – по недоразумению, родителей. Они мне в основном казались тупарями. Тупой, некультурный парень.

Все ли они такие были? Прошла ли пора для культурных убийц из прошлого столетия, поколения Вашего отца?

Как-то получалось, что все – в моем сознании. Вот я сейчас вспоминаю, что интеллигентные дети, юноши и девушки, не функционировали на каких-нибудь постах, они обычно были не то что протестантами активными, но иронически относились к делам. И, может быть, оттого, что я не была служащей, я не знаю, я не встречала. Впрочем, вру. После войны я заметила, что все сволочи моей юности (т.е. из Изоинститута) позанимали командные посты в МОССХе – это были уцелевшие – иные "по броне" – мои

ровесники. Я о них забыла, когда говорила, что не осталось мужчин-ровесников, просто я их за людей, вероятно, не считала. Но и не считала за убийц. Просто сволочи. А вот еще сволочь моего детства — Володя, мы с ним в одном классе учились.

Мой ненавистник и антисемит, он был очень противный парень, и когда я уже взрослой, не так давно, встретив его, спросила: "А где ты работаешь?", я с огромным удовлетворением узнала, что он — гебешник. Это мне безумно понравилось, порадовало, потому что он таков, каким и должен был развиться. Вот это был убийца того времени. Ну, он был довольно тупой, но не совсем, он не был сыщиком или чем-нибудь этаким, а служил в транспорте... Ну, туда ему и дорога.

Вот, кстати, был чудный разговор во время войны. Холодно, мы едем в трамвае, вагон набит битком. И вдруг одна девушка встает и уступает место старику, пьяненькому. Он говорит: "Милая ты моя! Как же тебя зовут-то, как мне на тебя молиться?" Она так улыбается смущенно. "Ну, скажи хоть, где ты работаешь?" И она сказала — я не помню точно, в госбезопасности в общем. Она это сказала, а он: "Э, милая, там-то мы все работаем": (Оказалось, она в буфете.)

Нет, интересно, что все же, при тотальном страхе и обаранивании, характер реакций у людей бывал разный. Я помню, с 1939 года, когда отец был явно в опале, я совершенно сознательно не приглашала к себе друзей на дом. Т.е. кто-то там, я не знаю, один или два, которые

все равно всегда бывали, и было бы смешно им отрицать дружбу со мной, но новых людей я просто сознательно не хотела подвергать какой-либо опасности. Но я познакомилась с одним парнем по работе, он учился на режиссерском отделении, и была тогда довольно симпатичная традиция — дипломанты-режиссеры среди студентов из Изоинститута искали художников, которые им оформляли бы макет постановки, костюмы и пр. И вот меня познакомили с этим парнем, он должен был делать постановку, и я очень увлеклась, я подумала — он настолько далекий мне человек, у нас никаких не было не только личных отношений, но вообще отношений вне работы. И по какому-то случаю ему надо было ко мне зайти. Мне было ему сложно объяснять, что ко мне нехорошо заходить и пр., думаю — ничего, ему ничего не будет. И он ко мне пришел, вполне чуждый человек. И потом, в следующий раз, когда он ко мне пришел, он мне рассказал следующую историю. Он от меня ушел — он довольно поздно ушел, в 11-12 ночи — и почувствовал, что за ним кто-то идет. Пошел в метро, сел и даже нарочно (знаете, этот способ вылезать не на той станции и пр.) ... , уже народу мало было, человек этот все еще был.

А жил этот парень где-то на окраине в общежитии, и когда он уже подходил к своему дому, он повернулся к тому, кто за ним шел, и сказал: "Вот видите это окно? Я там живу. Понятно?" Тот смешался и исчез. Он мне все это рассказал. Мало того, он пошел, по-моему, к како-

му-то начальству, чуть ли не на Лубянку, и написал заявление протеста. Это было перед войной. Его заверили, что это ему показалось. Я не знаю его дальнейшей судьбы, кстати говоря. Но вот у него была такая цельная, можно сказать, реакция именно советского человека, чувствующего полную свою правоту и считающего, что у него есть какие-то там права...

Вы сказали, что ответственны те, кто принял. Назовите мне не ответственных.

Из моего поколения, действительно, очень мало я знаю. Ну, человек, как Белинков, скажем. Он не принял. Это мое поколение. Я могу только назвать его одного. Да разве еще в те же, почему-то для меня роковые 11-12 лет (начало 30-х годов) – мальчика, на класс меня моложе, который удивил – и возмутил! – меня своим заявлением, что наша пресса – продажна.

Вот у Вас в рассказе нет репрессированных.

Ну, из моего поколения – это искусствоведы. Группа искусствоведов (ИФЛИ), на вечеринку которых я просто не пошла, а потом оказалось, что проявила "политическую зрелость". Они загремели. Но они не были мне близкими. И, кроме того, я не знала, за "дело" или нет.

А близкие люди?

Из моего поколения? Никого. Родителей моих друзей – да, а людей моего поколения – нет.

Т.е. лагерь у Вас не был под боком?

Нет. Были дети, скажем, дети Ганецких, с которыми в раннем детстве мы дружили. Стас и Ханка Ганецкие. Она моего поколения. Но мы к тому времени уже и не встречались, но я слышала, что она в лагере. Потом я ее встретила после лагеря. Но я не помню, чтоб меня это как-то касалось. Но они – как дети врагов народа. И мы прекрасно знали, что если маму и папу посадят, то и нас – как детей.

Как это воспринималось? Как-то никак. Вы не представляете себе степени легкомыслия девицы, которой хочется любви – любви и искусства. Все, как с гуся вода. Было неинтересно.

Ну, а где же ответственность?

Я думаю, что эта неосознанность и есть уход от ответственности. Как я могла не сознавать? У меня было вроде как бы достаточно информации. Ну как же. Вот посадили друзей дома – Николая и Филис Клышко. Их дети остались сиротами. Я пыталась им помогать, как могла. Но это было преклонение перед стихией – отношение было, как к стихии, а не как к злой воле какого-то там дяди наверху. Зима – надо надевать шубу.

А как Вы лично относились к Сталину?

Был период аффектированного восторга. Году в 1936-м. Я один раз его видела. Папа дал гостевой билет на какой-то съезд советов. Видела и

слышала. Я помню, потому что я писала маме об этом в Свердловск. И я чувствовала, как, помните, у Пушкина от встречи с царем – "подлость во всех жилах". Вот, примерно, такое чувство. Какая-то дрожь была, вероятно, от невероятного заряда власти этого человека. Я помню, меня поразил, во-первых, его маленький рост, затем видно было, что он рябой. Первые 15 минут мне трудно было даже его понимать, настолько был сильный грузинский акцент, чего я совершенно не ожидала, потому что я читала его выступления в газете только. И поразило то, как он держит аудиторию в своих руках. Он говорил медленно, с паузами, как очень спокойный человек...

Первые минут 15 я только слышала акцент, потом меня поразило то, как он держал публику. Я не слышала ни одного оратора, столь неспешного, столь уверенного не только в том, что слушают каждое его слово, но в том, что он может делать паузы, какие ему угодно, и они не будут восприниматься как пустоты. Все было в его руках. И это вызывало какой-то блаженный дополнительный восторг. Знаете, как дирижер, он останавливался в тех местах, когда надо было смеяться, и мы смеялись. Запомнила же я из этой речи то, что он сказал, что интеллигенция – не класс, а прослойка. Не знаю, почему, но это меня ужасно порадовало. Да, я даже думаю, что сейчас понимаю, почему: с одной стороны – обыватель был в презрении, с другой – было выражение "гнилая интеллигенция". И "интеллигенция", безусловно, это бы-

ло почти как слово "буржуй". И когда Сталин сказал, что интеллигенция – не класс, значит, мы таким образом больше не буржуи, а как-то вроде можно существовать в этом строю. Хлопала я, все хлопали. Я была в восторге, в ликовании каком-то. И вот эта дрожь от присутствия такой колоссальной власти, которая ощущалась во всем. Да, это было чувство, подобное тому, о котором писал Толстой, по-моему, у Николая Ростова или у Пети , когда Александр проезжал по плацу.

Потом, я помню, было ощущение некоторой жалости к нему. Это гораздо позже, когда он уже ощущался как злой властитель и вместе с тем было ощущение, что он и пешка, вот такая пешка судьбы, не знаю, такое было у меня чувство.

Еще помню, *его слово* очень действовало ("зря не скажет"). Так, когда он объявил: "Жить стало лучше, жить стало веселей, товарищи!", я почему-то поверила, что это так. А главное, я думаю, – слышать из его уст, что желать хорошей, веселой жизни – почтенно, а не преступление. (Ведь до сих пор были все аскетические лозунги.)

Я упомянула презрение к обывателю. Это чувство внедрялось и прочно внедрилось в наше поколение.

... Слово "обыватель" сделалось ругательным. Это и у моего отца тоже было. А что такое обыватель? Это просто житель. Значит, быть жителем – уже плохо, надо быть чем-то другим. И вот, мне кажется, может быть, от этого все ка-

чества, т.е. отрицание права человека быть человеком, просто человеком, обывателем. "Обывательские толки", "обывательские сплетни" – с невероятным презрением всячески склонялось. Может быть, самые гуманные слова, произнесенные советскими литераторами,– это первая фраза из "12 стульев": "Пешехода надо любить".

Я хочу сказать об ответственности тоже в связи с этим. Например, такой человек, как Мандельштам... Мне говорили люди очень близкие к нему, что он как раз считал, что ответственность за все лежит на интеллигенции. Не обязательно на самих коммунистах, на тех, кто делал революцию. На интеллигенции и, может быть, еще предреволюционной. Она завела страну в тупик. И, следовательно, просто глумиться над тем, что произошло, не только не конструктивно, но и продолжение этого преступления, а что надобно искать выход из этого тупика. Такое было у него мнение, а не просто, что он все это ненавидел.

В 20-х годах, после революции, был какой-то подъем и чувство, что многое возможно. Ну, как у Блока, что вот сейчас мы можем что-то сделать. И кроме того, у всех было очень мерзкое ощущение от России того времени – России Романовых, Распутиных и т.д.

Например, Чуковский и большая часть интеллигенции – это, может быть, не совсем осознано людьми теперешнего времени – в революции увидели колоссальные возможности, которых раньше не было, для широкого издания, для внедрения действительно культуры. И был страшный восторг в начале, несмотря ни на что, почему люди и не уезжали.

Вот те же люди, у которых было мерзкое ощущение, потом, в конце 30-х, не говорили, что вы мерзее?

Ну, конечно, они, может, и не говорили, но осознавали очень даже. Но, между прочим, Чуковский, ему очень не нравилась моя – такая минимальная! – замешанность в диссидентском деле, и не только потому, что он за меня тревожился, но он считал, что очень неправильно для человека, который несет какой-то культурный заряд, тратить себя на трибуну и прочее, что самое главное во все времена истории народа – делать то, что именно ты можешь. Он считал, что хорошая книга, переведенная мною, гораздо важнее, чем выступление на суде.

Это же дикий прагматизм. Вот твое место, сиди на нем. Больше пользы можно принести.

Я не уверена в том, что я считала протесты своим делом. Я просто человек несколько порывистый.

В основном, конечно, он пытался меня охранить. А было еще такое. Я помню, сразу после Пашкиного процесса *я поехала к Корнею Ивановичу. Мы были очень близкие друзья, он меня любил, я в этом не сомневалась и думала, что все, что меня касается, его тоже касается. Я спешила к нему все рассказать. И я помню, что я пришла, и он сказал так: "Чужая, чужая..." Он

---

* Суд над участниками демонстрации 25 августа 1968 года, протестовавшими против оккупации Чехословакии.

чувствовал, что во мне заряд всего этого. Он еще и стар был, ему было невыносимо. В какой-то степени такое же было чувство у моего мужа, он не хотел приобщаться, потому что тогда надо как-то на это реагировать, а он хочет лепить. Чуковский хотел писать.

А не было ли в этом сознания того, что если сейчас он позволит себе впустить информацию, то он зачеркнет этим оправданность всех тех лет молчания и отгораживания, когда он отгораживался от чего-то более ужасного?

Может быть, и было. Всякое бывает. Он хотел помогать и помогал очень много, и материально, чем мог. Но не вовлекался. Здесь, по-моему, и другое. Положение человека творческой профессии трагично в любом обществе: ведь у него одна коротенькая жизнь, в течение которой он должен – я говорю не о "долге" перед обществом, человечеством, историей и других высоких материях, а о запрограммированной, что ли, в его организме потребности – реализовать свое призвание. Отложить эту реализацию невозможно, как и земледельцу – пахоту, сев и т.д. А русский литератор – это сплошное наступание на горло собственной песни. Особенно остро это ощущается у художника к концу жизни: ему надо писать, лепить, сочинять музыку, а тут такие дела – человека судят, и не только "ни за что", а за благородные поступки. Надо реагировать, а он хочет писать, лепить и т.д. Вот и идет душевная арифметика, растлевающая душу арифметика – кстати, она была и у Белин-

кова, когда была надежда, что напечатают его книгу: он воздерживался от некоторых действий, которые ощущал делом совести. Тот же прагматизм: что важнее "для пользы дела". Характер реакции на общее всем чувство вины у людей разный: одни лгут себе, иные – другим, третьи (как я) уходят в депрессию. Но здесь мы говорим о другом времени, постсталинском.

Если некто хотел писать и отгораживался от информации о страданиях вокруг – не отягощает ли это ответственности?

Ну, если хотите, тут два выхода – либо просто молчать и ничего не писать, либо пытаться, надев какой-то иллюзорный плащ, протащить ту культуру и мысль, которую ему и хотелось. Это как раз было проблемой для многих работников культуры. В их числе, например, гораздо тоньше, – Фаворский, который кроме иллюстрации книг занимался монументальным искусством. Ему казалось, что он как бы лишь внешне делает уступку соцреализму, а на самом-то деле это кубизм. Я говорю, немножко огрубляя. Но я знаю, что Фаворский под конец жизни, совсем уже стариком, сетовал, что как-то участвовал, попустительствовал молчанием тому, что творилось. Маршак тоже в какой-то степени. Я помню, Лидия Корнеевна Чуковская сказала, что всех возможность делать любимую работу купила. И они ушли в свою профессию с таким наслаждением, с таким чувством, что они делают очень важное и нужное дело, что они могли как-то отключиться от всего. А вме-

сте с тем я не представляю себе даже, как могло бы быть иначе. Т.е. чтоб вся страна встала на дыбы? Иначе говоря, настоящая революция. Это же невозможно.

Нет, нет. Мы говорим о соучастии и об ответственности в предположении, что все вокруг пытаются жить нормально. Или так, как они считают нормальным в этих ненормальных условиях. Мы не говорим о ситуации, когда все встают. Все не встают. Но мы говорим о ситуации, когда каждый человек может с полным практическим основанием сказать – мой единственный поступок, если я один так сделаю или не сделаю, это ничего не изменит. Когда все встали – это изменит, но когда никто не встал – каждый говорит себе с полным основанием: это ничего не изменит. У каждого есть это оправдание.

Вот как человеку быть в такой ситуации? Причем здесь возникает забавная ситуация. Давайте возьмем вещь очень далекую от политики. Но поскольку это культура, то это имеет отношение ко всему. Возьмем талантливую балерину. Она видит, что власть подавляет культуру. И в то же время власть подкармливает балерин, чтобы демонстрировать, что все-таки не вся культура разрушена. Как ей поступить? С одной стороны – уйти со сцены означает как бы помочь власти подавлять культуру. А не уйти со сцены – это означает помочь власти демонстрировать, замазывать глаза. А сколько этот русский балет помог советскому престижу! Что ей делать? Я хочу сказать, что нет выхода. Быть может,

это часть замысла дьявольской власти, чтобы у людей не было пути уйти от соучастия? При этом ему потом скажут – а ты разделил часть ответственности.

Тут я хочу вспомнить о Вигдоровой, человеке прекрасной души. Ей удавалось пробивать статьи, в которых она боролась с несправедливостью и пр. Она – моего поколения, примерно. Большую часть жизни она была педагогом, учительницей в школе. И писала – сначала о педагогической своей деятельности, о школе, о детях и пр. Потом стала профессиональным литератором. Но всегда ее волновали вопросы воспитания. Беллетрист она была вполне советский, но с человеческой начинкой, что ли, она пыталась все очеловечивать, насколько могла. Чувство большой порядочности. Постепенно все больше и больше ее захлестывала несправедливость, которую она видела вокруг себя, и с этим она, как могла, боролась, т.е. писала статьи и фельетоны. И кроме того она была депутатом городского совета и все время занималась сортирными делами, буквально. А так как она человек душевный, она просто плакала почти все время.

Главным образом, ее волновала молодежь. Она, по-моему, первая заступалась за Амальрика, когда он был совсем студентиком рыжим. У нее не получалось профессионального равнодушия, в каждое дело она вкладывала все. И както с чем-то я ее поздравила, с каким-то фельетоном, она задумчиво сказала: "Да, но я не знаю, может быть, я делаю черное дело". Я говорю: "Как так?" – "Да, но я таким способом способ-

ствую вот этой показухе, что у нас возможно что-то делать. Во-первых, мне иногда удается чуть-чуть что-то облегчить, но это один случай на миллион, может быть, а такое впечатление, что вообще можно что-то сделать". Ну, такое у нее было грустное рассуждение. И она все время держалась как-то вполне приемлемых для советских властей пределов. Так что многие даже думали, что она партийная, а она никогда не была таковой. Один раз она задумала, это уже во время оттепели, фельетон о молодежи и таком бюрократическом, что ли, подчас отношении к ней. И она собирала просто примеры, и меня спрашивала. Знаете, ведь фельетонисты доходили иногда не только до Аджубея, но и до начальства цековского по каким-то делам. И она пошла. Там было, по-моему, дело об исключении каких-то молодых людей за что-то, и она сказала с жаром этому высокопоставленному, может быть, это был Аджубей: "Вы понимаете, что такими поступками, таким обращением с молодежью мы добьемся того, что люди перестанут думать?" – "А это нам и надо", – вот просто так цинично ей сказали. А последнее дело, дело, на которое она жизнь уложила, – был Иосиф Бродский. Ведь Иосиф Бродский выполз из всего этого благодаря тому, что Вигдорова и Лидия Чуковская в течение года или больше работали, как табельные рабочие, т.е. каждый день – "Что мы сегодня сделаем для Бродского?" Это невозможно все рассказать, как они осаждали всех, как они надоедали всем, как они несчастного старика, больного Маршака из Барвихи

потащили, чтоб какую-то там телеграмму он дал. Они ни себя, никого не щадили. И вытащили. Вигдорова же ездила на его суд и сделала запись суда. И, я помню, она к этому времени дошла до абсолютно белого каления и сказала, что если его то-то, то "я это дам на Запад". Для нее это не то что храбрый поступок, просто это переход в совершенно другое качество. Она просто сгорела на этом.

Я про нее почему рассказала. Она, пиша благородные фельетоны, сомневалась, думала, что, может быть, она помогает советской власти втирать очки.

Люди вроде Вигдоровой — хоть таких во все времена наперечет — меня не удивляют. Даже менее деятельно добрый человек, если к тому представляется возможность, испытывает желание помочь.

Я знала, например, одного литератора, беспартийного карьериста, знающего и культурного человека — старше меня на полпоколения, который так объяснял свое подлое поведение (публичное отречение от Пастернака, с которым у него были приятельские отношения, публичная поддержка экспансионистской политики правительства (Венгрия) и т.п.). Дошло до того, что даже не отличавшиеся особо утонченной брезгливостью друзья отвернулись от него. И вот как-то, когда он почувствовал себя очень уж одиноко, — все же была оттепель и прочее, хотелось, чтобы его за человека считали, — он мне сказал: "А не допускаете ли Вы такой возможности — вот наступила определенная эпоха

в стране, когда кажется, что можно, но на самом-то деле еще ничего нельзя сделать, еще ничего нельзя сказать. Можно выскочить преждевременно, можно принести жертву – и все. И вот существует человек, который решил выждать, подождать то время, когда можно будет что-то сделать, *сохранить себя для этого".* Так что он какого-то самооправдания искал.

Меня что поражает: люди в постсталинскую эпоху, когда все-таки буквально петля не угрожала, так же, а иногда и более трусливо себя вели, чем в сталинскую. Инерция ли это или что – я не знаю.

А вот эпизод с другим литератором, совершенно другого толка. Ко времени, о котором речь, за ним – совершенно справедливо – закрепилась репутация человека благородного и неустрашимого. Это было время, когда уже Солженицына исключили из Союза писателей. Мы собирали подписи, и я поехала к нему в Переделкино. Кстати, интересная деталь. В провинции и в Москве разные матрицы для газет. Солженицына исключили из Рязанского отделения. В "Литературке", которую получали в Переделкино, не было сообщения об этом, а в московской – было. К моему удивлению, он отказался подписать письмо. Он сказал: "Сейчас мы боремся за "Новый мир". За существование "Нового мира"." Что-то такое. Я говорю: "Ну, хорошо. Где же грань? Ведь похоже на то, что мы, как тюлени, сидим. Рядом кого-то тюкнули, а мы вот так сидим, не знаем, что сейчас вот нас тюкнут. Где тут начать сопротивляться? А завтра

вот Лидию Корнеевну, тогда Вы тоже будете молчать?" – "Тогда я, конечно, ..." Что-то такое было. Он не подписал, причем это объяснялось как бы стратегическими соображениями. Снова арифметика! О ней, кстати сказать, очень хорошо написано у Чуковской в ее книге "Процесс исключения". Там же – ее размышления об ответственности. Представьте себе, даже она себя казнит за несвершенности! Вы высказали остроумную мысль о некоей дьявольской "круговой поруке", которой нас всех связала тоталитарная мафия. Так ли это, т.е. был ли такой сознательный план, не знаю, но здесь еще, мне кажется, одно – это едва ли не отличительный признак ее – свойство интеллигенции: чувство вины.

А вот у замечательного скульптора и мудрейшей женщины Сары Лебедевой (19-го века рождения) было одно правило в делах такого рода: "Подписывать это – безумие, глупость, не подписать – подлость". И подписывала.

ВИКТОР НЕКРАСОВ

Сначала я прочту вам отрывок из одного своего рассказа. Описывается Киев довоенный.

"И жили в нем мальчики и девочки, весьма интеллигентные и целеустремленные. И ходили они по вечерам в театральную студию при Театре русской драмы. Если Вам случалось проходить когда-либо после 7 вечера по Пушкинской улице, Вы обязательно видели их на ступеньках актерского подъезда. Весело болтая, покуривали они в своих бородах, костюмах из "Пугачевщины" или в пестрых камзолах "Благочестивой Марты". Обнаружили бы Вы тогда среди них и меня. И происходило все это в незабываемые 30-е годы нынешнего столетия.

Вопрос, который часто слышу сейчас, – как же мы, молодежь тех лет, пережили эти самые страшные 30-е годы? А вот так вот, пережили. Стояли в очередях за маслом и восторгались челюскинцами. Ходили в вельветовых толстовках и тапочках, а летом с рюкзаками за плечами отправлялись на Кавказ. Где-то совсем рядом пухли с голоду крестьяне, а мы прорабатывали исторические решения очередных съездов, тут же забывая, о чем шла речь. Читали Хемингуэя и чего-то там возились в кустах на днепровских откосах. Нам было по 20 лет.

Да, но в 19 лет был уже написан "Демон", Писарев и Надсон оба умерли, не дожив до 25,

Якир в 20 с чем-то командовал уже дивизией. Что ж, на ступеньках Русской драмы сидели другие ребята, других судеб, других задатков. А теперешние 20-летние? Что ж, дома пьют по-черному, Хуциевская картина "Мне 20 лет" – талантливая и трогательная идеализация. А Ерофеевские "Москва – Петушки" или совсем недавно появившиеся "Алкоголики с высшим образованием. Картины народной жизни" Николая Вильямса – отнюдь не преувеличение. Но увы, это так. А здесь, на Западе? Пьют меньше, зато – наркотики. Свои проблемы.

... У нас ничего подобного не было, даже отдаленно напоминающего жизнь нынешней западной молодежи. Но веселость была, и влюбленность – друг в друга, в искусство, в театр с большой, даже громадной буквы, в Иван Платоныча Чужого, нашего учителя. Театральная студия. "Тварь ли я дрожащая или право имею?" – трагическим шепотом произносил я – Раскольников над трепетным пламенем свечи на столе. Я видел тогда только расширенные от ужаса глаза Сонечки Мармеладовой и ничего другого. А ведь именно в те, заполненные счастьем и влюбленностью дни не Камбоджа или Уганда, а четверть твоей собственной России, Украины гнила в лагерях. Ну, может быть, еще не четверть, но было это в незабываемом 1937 году. Тем же летом, окончив студию, мы гастролировали с театром в Днепропетровске и Запорожье, изображали франкистских офицеров в сверхгероической пьесе Мдивани "Альказар". Вели на расстрел Юру Недзвецкого – Гарсиа

Лорку. Тогда же, идя как-то на репетицию, увидели в газете, вывешенной на стене, сообщение о предателях и изменниках Тухачевском, Якире, Уборевиче... Ахнули, не поверили, а через полчаса думали уже о том, как бы смыться с репетиции и махнуть на пляж. Было мне тогда уже не 20, а 26 лет...

Прошло еще два года. Меня занесло во Владивосток. Что-то изображал там на сцене Театра тихоокеанского флота, не помню уже, что. А по вечерам, в крохотной моей каморке, сидя друг у друга на коленях, весело выпивали с ребятами. Все они, молодые актеры, проходили военную службу в нашем театре. В Испании все еще шла война, мы переживали неудачи республиканцев, иной раз позволяли себе выпить за их успехи по глотку Бог его знает как оказавшегося на владивостокских прилавках ихнего же испанского шампанского. Но, ей-Богу, выпив за их здоровье, говорили, перебивая друг друга, о вещах куда более близких и жгучих. А в нескольких километрах от моей каморки на Второй речке, куда часто ездили мы с выездными спектаклями, умирал Осип Мандельштам. Кто знал об этом? А большинство, в том числе и я, просто никогда и не слышали о существовании такого поэта. Грустная картина? Грустная. Не знаю, будь мы тогда протестантами, борцами, Буковскими или Кузнецовыми, жизнь, может быть, пошла бы по-иному. Кто знает? Но мы ими не были. Поэтому, вероятно, и выжили, и пережили. Более того, мы даже не отвергали советскую власть. Другой мы не знали, а эту принимали

как данность. Старались не замечать ее, иронизировали над ней, подсмеивались, но антисоветскими не были. Ими мы стали уже после войны, перевалив за 30."

Вот такой вот кусочек я Вам зачитал.

Это не ответ. Ответ может быть как-то дан только в серьезной, большой, глубокой книге, которая, дай Бог, будет если не мной, то кем-то написана.

А теперь давайте поговорим об ответственности поколения. Тем более, что я говорил о нас 20-летних, а мне после этого было и 30, и 40, и 50, и 60 и через несколько месяцев – 70. Прошло 50 лет с тех дней, о которых я написал.

Вы задали вопрос об ответственности поколения. Что такое поколение? Это люди приблизительно одного и того же возраста, но разные – советские и антисоветские, идейные и безыдейные, пьющие и непьющие, веселящиеся и думающие. Так что говорить о каком-то поколении как о едином потоке очень трудно. Я могу говорить только о себе и своих друзьях. И вернусь к тому эпизоду, о котором я Вам говорил в предыдущем нашем разговоре. Я присутствовал при некой сценке, из которой потом развился рассказ, несколько мной дофантазированный, но основа осталась основой. Это было после XXII съезда на Красной площади, когда вынесли Сталина и закопали куда-то подальше. Народу вокруг мавзолея было много и много о чем-то говорили. Среди них был мальчик, юноша с горящими глазами, скажем так, который прорвал-

ся и сказал: "Мы вам, отцам, не верим, -- вы всю жизнь лгали. Вы лгали нам, вы лгали себе, вы лгали всем. И сейчас вы тоже лжете, мы вам не верим. Мы, 20-летние, не верим никому, кому больше 30 лет".

Я с ним в спор не вступил, только прислушивался. Но он меня как-то очень задел, ведь я относился к тому самому поколению, которому больше 30 лет. И я задумывался, в общем-то уже взрослым совершенно человеком, и о себе, и о поколении старших.

Мне с моими родителями повезло. У меня были хорошие родители. Они были благородные, они были честные, для них эти понятия -- честности, добропорядочности, правдивости -- имели какое-то очень существенное значение. И такими они ушли из этой жизни. Они долго жили за границей, большую часть своей жизни. Не как эмигранты, не как противники существовавшего тогда строя. И потом, вернувшись в Россию и оказавшись в советской России, они не превратились в антисоветчиков. Они никогда не шипели, не плевались, не ругались. У мамы был ясный, веселый, бодрый характер, она старалась все дурное от себя отталкивать, тем более что она была врачом и делала хорошее дело, ее все любили. Тетка была другого склада. Она за границей дружила с социал-демократами, ее другом большим был небезызвестный Вам Виктор Павлович Ногин, и еще один социал-демократ, со страшной фамилией Андропов, но из других. В общем-то она была склонна ко всему левому, революционному. Характер у нее был сложный и бес-

страшный, она протестовала по поводу всех арестов, которые на ее глазах происходили. Писала письма Крупской, с которой когда-то работала в Наркомпросе, Бонч-Бруевичу, протестовала в ЦК и в другие инстанции. Все это ни к чему не приводило, но она во что-то еще верила, относилась к тем людям, которые считали, что святая идея скомпрометирована злыми людьми. А Ногина, Крупскую и того же Андропова, который много сидел, а потом страшно возненавидел советскую власть, я его видал, она считала людьми чистыми и благородными.

Я все это веду к тому, чтоб сказать, что для меня мои родители были людьми, которые не вызывали у меня осуждения, хотя я считал их, конечно, людьми прошлого, а себя — человеком настоящего и будущего. Я говорил уже о том, что мы, молодежь, не отвергали советскую власть. Мы старались ее не замечать. Молодость, увлечения разные — сначала архитектурой (в институте), потом театром. А жизнь шла... Московская, ленинградская по-своему — там забирали, сажали, вслушивались каждую ночь к каким-то проезжающим машинам, смотрели за окнами, которые гаснут. Все это у нас в Киеве как-то проходило мимо меня и нашей молодежи. Я сейчас много и часто думаю об этом. Почему моя семья не подверглась репрессиям, хотя они и бывшие, и дворяне, и жили в свое время за границей, и переписывались с сестрой, которая жила в Швейцарии, совершенно открыто, не боясь ничего, и получали какие-то там франки на торгсин? И никаких преследований. Сейчас

я себе это объясняю, может быть, тем, что у нас в квартире была одна комната реквизирована и в ней всегда жили кагебисты. Возможно, они, любя мою маму как врача, любя мою бабушку как хорошего человека, может быть, они спасли как-то мою семью. Я так это объясняю.

Т.е. у Вас был прямо в семье пример того, что люди не слились с тем злом, которое было вокруг, но проблема в том, что Вы этого зла не видели.

Что значит, что я не видел зла? Ведь мы же, 20-летние, – (на войну я попал в 30 лет) – мы не верили, например, в процессы. Мы знали, что все это подстроено. И осуждали, презирали. Но люди мы были неполитические. Театр, архитектура, искусство, влюбленность в нашего Ивана Платоныча, волнения по поводу Раскольникова – все это заслоняло – молодость ли это или чистота, но заслоняло ужасы 1937 года. Мы видали голод, мы видали трупы. Мать ездила как врач в колхозы, где люди пухли, приезжала и рассказывала, мы ахали и охали. Но, повторяю, прочитав про Тухачевского, мы ахнули, не поверили, а через полчаса уже бежали на пляж загорать.

Молодость, которая у разных по-разному. Вот я смотрю, молодость того же Эдика Кузнецова, или Володи Буковского, или Вадика Делоне – их молодость прошла иначе, она началась у них с Маяковки. У нас Маяковки не было. И у нас не было того, что есть сейчас. Во-первых, мы жили в наглухо законсервированной банке. Никаких радио, никаких "Свобод", Би-Би-Си

и "Голоса Америки". Никаких газет из-за границы и в помине не было. Что мы читали? Мы читали в юности "Тарзана" Берроуза, который тогда был бестселлером (кинофильма тогда еще не было), Оливию Уэдсли или Кервуда. Мы смотрели "Индийскую гробницу" или "Багдадский вор" с Дугласом Фербенксом.

Вот что мы знали о загранице. Я был уже молодым человеком, пытавшимся что-то писать, читавшим Хемингуэя. А что я знал, например, о русской литературе, которая здесь, оказывается, не погибла, которая по-своему, но очень серьезно развивалась? Что мы знали? Знали, что там где-то в эмиграции живут Бунин, Теффи, Аверченко, Саша Черный, Куприн. Больше ничего. Знали, что где-то что-то там Рахманинов, Шаляпин загибаются. Сейчас же все несколько иначе. Сейчас консервной банки уже нету. Благодаря нашему дорогому Никите Сергеевичу все-таки пробилась какая-то форточка.

Почему приезжие из Москвы все говорят о том, как стало тяжело дышать? Не так страшно, как при Сталине, нет убийств массовых, все это уменьшилось, но дышать стало тяжелее. Так говорят мои сверстники. Им известно уже, что что-то есть по ту сторону Берлинской стены кроме инфляции и безработицы. И ведь у нас не было тогда ни Сахарова, ни Солженицына. Сейчас же у молодежи есть имена, есть какие-то фигуры, перед которыми преклоняются. Хотя приезжающие рассказывают и о том, как мало знают в России о Польше, об Афганистане, об Андрее Дмитриевиче только, что где-то он

там в Горьком. Радио глушат, одолевают заботы.

Но вернемся назад, к вопросу об ответственности за все, что произошло. Есть у нас некое оправдание – это война. Все мы, принявшие участие в войне, считаем, что как-то своей кровью, у кого – больше, у кого – меньше, опасностью, которой подвергались, героизмом, который кто-то проявил, как-то смыли своей кровью все-таки позор 30-х годов. И это тогда вселило в нас, в меня – во всяком случае, некую веру... Я же в партию вступил, как говорится, с чистым сердцем и открытой душой, считая, что что-то уже смыли, дальше уже врать невозможно, уничтожили самое страшное, что есть на свете, – Гитлера, что мы несем на своих знаменах правду, свободу и т.д. Ничего этого, оказалось, мы не несли. Мы оказались не освободителями, а покорителями. Недавно я писал о том, как меня встречали в Польше. Я кончил свою войну в Польше, пролил последние капли крови в Люблине. И вспоминаю, как меня обнимали, целовали, поили польским "бимбером", самогоном, – я был освободителем. А сейчас я вижу, что я был оккупантом.

И Красная Армия, к которой я не могу не иметь по понятным причинам какой-то симпатии, любви, превратилась в армию-покорительницу, армию-оккупанта. Раньше говорили – немецко-фашистский оккупант, теперь – русско-коммунистический оккупант. И это страшно. И вот то, что нам тогда давало какую-то светлую нотку в жизни, создавало ощущение выполнен-

ного долга, мы защитили, мол, родину свою от врага, сейчас все это становится чем-то другим. Мы не защитили, мы покорили. Поэтому ответственность наша становится еще более сложной. Да, мы воевали не за Сталина, а за родину, за отцов, матерей, за свои хаты и дома, но в конце концов выяснилось, что мы утвердили этот пагубный чудовищный строй!

Бывали ли случаи, чтобы на каких-то собраниях Вы лично участвовали в осуждении, в голосовании с осуждением кого-то?

В этом отношении я не был Александром Матросовым. Мой героизм заключался в том, что я никогда не голосовал за осуждение, я воздерживался. Не против, а воздерживался. И уже мне пожимали руки и говорили в коридоре, озираясь: "Молодец!".

Не в 30-х годах. Тогда я этим не занимался. Это уже после войны, когда я стал писателем. В 30-х годах я ни на каких собраниях не бывал. Побойтесь Бога, я был студентом, на какие собрания я ходил, я убегал со всех собраний! Я говорю уже о послевоенных, тоже нелегких годах космополитизма и дела врачей. Исключались, сажались и убивались люди. Тут я могу, не стесняясь, говорить, что моего участия в этом не было. Но выражалось это в воздержании, что считалось Гастелловским подвигом в нашей стране, как Вы знаете.

Что Вы думаете о людях, которые считают себя хорошими, способными творить добрые

дела и которые шли в партию, строили карьеру в надежде собой улучшить всю эту систему?

Скажу опять же о себе. Сразу после фронта, после госпиталя – помню это хорошо – я ходил с моим другом, журналистом, участником войны, партизаном, очень любимым другом, по бывшей Царской, потом площади Сталина, ночью, выпивши, и говорил ему: "Я тебе дам рекомендацию в партию. Вот такие люди, как ты, нам нужны. Вот я в ней, и моя миссия – добиться, чтоб побольше, побольше, побольше таких, как ты... Вот мы сейчас войну выиграли, понимаешь..." Это какой-то 1946 год, до того, как первая ласточка появилась... (первая ласточка – это постановление о журналах "Звезда" и "Ленинград" осенью 1946 года). Но летом 1946 года я еще считал, что партия – это партия. После той ласточки начались всякие другие события, которые привели к тому, что через несколько лет я был исключен из партии, и считаю это одним из счастливейших дней.

Я могу сказать Вам, что в армии вступали в партию почти автоматически. Я был, пожалуй, последним офицером в нашем полку беспартийным, и меня очень долго уговаривали. Но после победы в Сталинграде мы настолько поверили в чистоту нашего дела, что я вступил в партию, как говорю, с чистым сердцем.

А в последние годы кое-кто из моих друзей, заливаясь пьяными слезами, признавался мне, что вступает в партию, потому что, вот, "ну,

пойми, мне сейчас предложили место заведующего отделом на столько-то рублей больше, а у меня вчера ребенок родился. Но, пойми, мне стыдно, мне бесконечно стыдно. И налей мне еще, выпьем". Это не один и не два раза я видел. Но это уже в период, когда все понимали, что такое партия, т.е. что ее, как идеи, – нету.

Это просто – "пойми, пойми, пойми, стыдно". Те люди, которые на моих глазах вступали в партию, глубоко стыдились этого.

Были люди, которые... Вот недавно один ушел из этой жизни, Игорь Александрович Сац. В "Новом мире" работал. В свое время был секретарем Луначарского. Он до последних дней – я его видел семь лет тому назад последний раз, – он все-таки считал, что есть марксизм. И он, и Лукач, и Михаил Александрович Лифшиц, это все марксисты, последние зубры-марксисты, верные идее, которая в общем, конечно, испохаблена у нас.

Я вовсе не настаиваю на том, чтобы признавать это поколение ответственным. Но если признавать его ответственным, если признавать людей этого поколения соучастниками всего этого зла, вот сейчас, глядя уже из новой эпохи на это время, что бы Вы могли сказать – а что было им делать?

Вопрос, вероятно, самый трудный из всех, которые кто-либо когда-либо задавал мне в жизни. Опять-таки я говорю – смотря, кому этот вопрос задается. Что делать тому колхознику, который стал моим солдатом, допустим, в Ста-

линграде? Что он мог сделать? Приехавший мобилизованный где-то там в Красноуфимске (у нас была Сибирская дивизия) или где-то еще дальше и попавший в Сталинград? Вот он, почти мой ровесник, что он, этот колхозник, мог сделать? А все-таки страна наша в основном состояла из них.

Но он и зла не делал. Возьмем интеллигенцию (о рабочих не говорю -- я их мало знаю). Возьмем интеллигенцию. Это, может быть, самое сложное, что есть. Возьмем писательскую. Ведь существовали Замятин, Булгаков, которые не выдержали, которые писали письма Сталину. Кроме того, существовал приехавший из-за границы Алексей Толстой, наш красный граф. Ведь все это страшно дифференцировано. Что должна была делать Анна Ахматова, что должен был делать Пастернак? Могу ли я требовать от гениального, но немного блаженного Бориса Леонидовича чего-то кроме того, что он делал во славу русской литературы? Не могу я от него ничего требовать. Были люди бескомпромиссные, были Булгаковы, были Замятины, был, допустим, один из любимейших моих старших товарищей, писатель, его, увы, уже нет в живых, Иван Сергеевич Соколов-Микитов, прекрасный человек и писатель, с потрясающей биографией. В прошлом матрос, потом послушник на Старом Афоне, потом летчик, бомбил немцев в первую войну, потом в Красной Армии, потом пленен белыми, должен был быть расстрелян, потом бежал, оказался опять на пароходе, затем в Англии, эмигрант, Берлин, знакомство со всеми

Горькими, начал писать, возвращение в Россию... Писатель, прекрасный и честный. И незапятнанный. Прожил до 85 лет, и на нем нет пятнышка – это уже героизм. Мог ли он изменить что-либо? Нет, не мог! Это не та система, которая могла бы в те годы допустить какое-то вмешательство в то, что делалось.

На Ваш вопрос об ответственности отвечаю – да, несем ответственность. А была ли какая-либо другая возможность кроме как пойти на костер, так, как пошла, допустим, Наташа Горбаневская? Тогда это было совсем невозможно Возможно, и сейчас это – бессмысленная акция, но это акция, которой мы гордимся. Мы ими гордимся. Наташей Горбаневской, Вадимом Делоне и всеми, кто пошел на Красную площадь. Они сделали то, чего не сделал я. А в 30-е годы такого быть не могло.

Просто это не могло случиться. Не было тогда ни Володь Буковских, ни Эдиков Кузнецовых. Не была для этого подготовлена почва, ни Маяковкой, ни XX съездом, ни XXII – не было же этого. Были же только победоносные съезды с историческими речами. И были процессы, которым мы не верили, пожимали плечами и удивлялись Фейхтвангеру, удивлялись Барбюсу, удивлялись Бернарду Шоу, которые пускали слюнки все... Удивлялись, но жили своей жизнью. Жизнью 20-летних.

Ответил ли я на Ваш вопрос? Нет... Да и не пытался. Да еще по телефону, через океан. Я ставлю его сам себе. И в свои 69 лет я только на пер-

вой ступени этого крутого маршрута. Маршрута познания себя и своей жизни. Он – этот маршрут – полегче, чем тот, который преодолела Евгения Семеновна Гинзбург, но он тоже не легкий.

МСТИСЛАВ РОСТРОПОВИЧ

Вопрос настолько всеобъемлющий, что на него очень сложно отвечать. Очень трудно ответить на этот вопрос односложно, потому что я действительно был воспитан при Сталине, я при его жизни еще получил Сталинскую премию, которую потом переименовали в государственную. И отняли значок, отняли диплом, который им был подписан, но у нас всегда есть мания перемены истории. Они совсем не понимают того, что история есть история, даже если это были ошибки, они остаются в истории. Ведь не надо их повторять через 20-30 лет, из них просто надо делать выводы для того, чтобы в другое время не делать следующих ошибок. А у нас все время живут задним умом. Например, постановление Жданова 1948 года, санкционированное, вдохновленное Сталиным, через 10 лет или немножко больше отменили. Отменили постановление и в этот же момент начали бить других людей, о которых надо отменять постановление еще через 10 лет, потом начнут бить еще и других, о которых опять надо будет отменять постановление еще через 10 лет ... Живут каким-то задним умом.

И единственное, что я могу сказать, — все зависит от того, как ты лично, сам сумел прожить. Я должен сказать честно, что в сталинские времена меня баловали, я был баловнем

этой системы. Мне дали возможность получить образование, меня ласкали, ко мне относились хорошо, мне помогали. И я был действительно благодарный человек просто. Я по возможности развивал свой талант, который, с моей точки зрения, мог принести пользу моему отечеству, дать большее музыкальное образование моим же соотечественникам, и поэтому я был благодарен. Достаточно было судьбе столкнуть меня только с одной проблемой, связанной с Солженицыным, проблемой просто человеческой минимальной элементарной свободы, когда ты можешь пригласить к себе в гости и не спрашивать разрешения у КГБ: "Вот, я пригласил в гости. Как Вы думаете, как Вы считаете?" Вот я пригласил его и не спрашивал разрешения. Вот достаточно было одного маленького ослушания, даже не ослушания, это меньше, это просто собственные действия, не согласованные ни с кем. Когда меня стали крушить, уничтожать и решили меня, так сказать, снести бульдозером, как соломинку, тогда, естественно, они меня сами толкнули на путь прозрения.

Поэтому путь прозрения моей гражданской, если хотите, совести, он начался именно с того момента, когда начались мои трудности, а не тогда, когда мне просто помогали и когда я просто был благодарен. И вот это момент очень важный. Поэтому ответственность за будущее поколение – она не приходит просто так. Ты прозреваешь, и тогда ты начинаешь задумываться, тогда ты начинаешь думать о том, что в конечном счете если твой отец не успел, не мог

и ему Бог не дал ничего сделать, случая не дал ему, то у тебя есть дочери, у тебя есть дети.

Я вспоминаю один случай, который я хотел бы Вам рассказать. Случай, который чрезвычайно важен, он биографически для меня важен, никто о нем, может быть, не знает, наверняка не знает, кроме двух людей, которые пришли ко мне.

Тогда уже мы были на острие ножа, тогда над нами уже издевались, тогда снимали мои концерты якобы по моей болезни, тогда меня не хотели посылать на концерт Организации Объединенных Наций в Париж – сказали, что я тяжело болен. Менухин, скрипач, он пишет в своей книге об этом, позвонил мне домой, и Галя сказала, что я абсолютно здоров. Потом в Организации Объединенных Наций (там специальный комитет музыкальный) Менухин задал вопрос: "В чем дело? Почему Вы сказали, что он болен, когда он был здоров?" – "А Вы знаете, нам известно, один доктор нам сказал, что он был пьяный". Я хочу рассказать один важный эпизод. Уже когда над нами издевались и уже нас лишали и концертов, и всего прочего, пришли два человека из Большого театра. Известно, что я дирижировал в Большом театре "Евгением Онегиным", дирижировал "Войной и миром" Прокофьева, и это имело большой успех. Меня выгнали из этого театра. Это ведь считается императорский театр, Леонид Ильич посещает этот театр иногда, если приедет какая-нибудь делегация, более или менее понимающая в музыке, он сидит скучает, естествен-

но. Ну, и меня вышибли прежде всего оттуда, я перестал дирижировать "Евгением Онегиным", перестал дирижировать "Войной и миром". И вот однажды пришли два члена коммунистической партии из Большого театра, один – тенор, один – баритон. Пришли друзья моей жены, солисты Большого театра. Они пришли к нам домой на улицу Огарева, веселые, немножко выпившие и счастливые. Они сказали: "Славка! Завтра ты можешь возвращаться в Большой театр. Завтра ты приходи туда, мы тебя все встречать будем". Я обалдел, я говорю: "Что случилось?" – "Да ничего. Просто ты нужен Большому театру, приходи, мы так счастливы!" Я говорю: "В чем дело?" Тогда один, смущаясь, сказал: "Знаешь что, вот мы принесли тебе очень деликатное письмо против Сахарова. Пожалуйста, подпиши его. Ничего особенного нету". Я посмотрел. Действительно, они составили его довольно благополучно, дескать, я не занимаюсь политикой, но я считаю, что не надо выступать против и т.д. и т.п. Я сказал, что я этого не подпишу. Они сказали, чуть не плача: "Дурак! Ты знаешь, в конечном счете, ну и что, что ты подпишешь письмо, у нас все подписывают письма, и все об этом забывают. А то, что ты поможешь нашему искусству, поможешь нашей музыке, поможешь Большому театру, это так важно, сделай это". Потом они поняли, что меня не свалить. Они пошли к Гале, тогда она была солисткой Большого театра. Они с ней два часа разговаривали. И Галя им сказала одну очень важную фразу. Она им сказа-

ла: "Вы знаете, что у него есть две дочери. Если он подпишет это письмо, я не знаю, как он сможет смотреть в глаза своим дочерям. Поэтому – через мой труп, я ему запрещаю подписывать, даже если бы он захотел". И вот это и есть элемент ответственности, которая появляется, когда она сказала, что она не хочет, чтобы отец закрывал свои глаза и отворачивал свое лицо от взглядов своих дочерей в будущем. Вот это – ответственность отцов.

Конечно, я считаю, что все идет от Бога, я верующий человек, я считаю, что одному дано быть героем, просто обстоятельствами, другому – не дано быть героем. Я думаю, что, если б я увидел пожар и там бы, мне сказали, горят дети, я бы, наверно, бросился спасать детей, может быть, сам бы сгорел. Но мне не довелось в жизни, я не видел горящего дома, я не видел утопающих детей. И своего отца я не обвиняю в том, что он не был героем, он не был борцом за права человека, он не был борцом за правду. Да ему просто как-то не удалось, не было случая. А вот мне Бог предоставил эти случаи. И я считаю, когда человеку Бог предоставляет случай быть праведным, элементарно честным, уйти от этого случая – это значит стать преступником самому перед собой.

Когда Вы были баловнем судьбы, когда ситуация способствовала тому, чтобы Вы развивали свой музыкальный талант и обогащали русское искусство, бывало ли, что до Вас доходили сведения о зле, которое творится кругом?

Честно скажу, что нет. Абсолютно честно скажу, что нет.

Я абсолютно ничего не знал. Только тогда, когда люди стали думать о том, что я могу воспринять эту информацию, она стала до меня доходить. Это очень странно было. Но это факт моей биографии. Я никогда не знал, я даже не видел... Когда в 1937 году мне было ровно 10 лет, мы семьей -- мать, отец, я, моя сестра выходили гулять на улицу. Я знал нескольких людей, могу даже назвать одну фамилию -- такой Евгений Мазурович Альтерович был. Мне было тогда 8-9 лет, наверное. Он был заместителем наркома тяжелой промышленности. Он был удивительно милый человек. И, зная мой музыкальный талант, который развивался с 4-х лет, они меня принимали в своем доме, катали на своей машине, я вообще был любимцем этой семьи. И вдруг, когда мне было уже 10 лет, я более или менее понимал что-то, но очень мало, вдруг родители мне сказали: "Ты больше туда не пойдешь, ты больше не сможешь там бывать". И я помню, что, не получая никаких известий от них, от Альтеровичей, мы пошли все вместе гулять. Отец как будто отделился от нас, побежал наверх, на какой-то, не помню, этаж, а мы как будто шли дальше по улице. Потом отец нас догнал и сказал матери: "Печать". Это значило, что квартира опечатана. Это я помню, эти эпизоды.

Но эти эпизоды быстро выветривались. Я знал, что какие-то люди уходили из жизни, ка-

кие-то люди уходили из общения с нами, но в 10 лет – в 1937 году мне было 10 лет, я в 1927-м родился – это, конечно, не производило травмирующего впечатления. Масса новых информаций, масса новых впечатлений, масса новых переживаний. Поэтому я думал, что все в общем идет нормально. Я честно в это верил.

И после войны тоже? Тоже не приходилось?

Верил! Именно не приходилось. Я был студентом. Я получил сначала стипендию им. Чайковского, получил стипендию им. Сталина, потом получил Сталинскую премию. Я относился к этому с гордостью. Но, правда, надо сказать, я никогда не углублялся в жизнь помимо моей семьи. Я знал, что у меня есть мать, после смерти отца, сестра, и я знал, что я должен им сделать жизнь лучше. И я старался это сделать. Но я никогда не вступал в коммунистическую партию, хотя меня просто заставляли это сделать.

Заставляли, потому что я был талантливый. Сначала я отнекивался. Для меня 1948 год был дикой травмой, это постановление Центрального Комитета партии. Это была дикая травма в моей жизни. Потому что я к этому времени учился уже у Шостаковича в течение 4-х лет в классе Московской консерватории. И, будучи одаренным от природы в музыке, я понимал, что это гениальный человек, совершенно понимал. И когда однажды я пришел после 1948 года в консерваторию, я увидел на доске приказ директора Московской консерватории Свешнико-

ва, сформулировано было примерно так: за профессиональную негодность профессор Шостакович отстранен от занимаемой им должности. Вот это был первый удар.

Вот в 1948 году, вот это постановление ЦК партии открыло мне на все глаза, на все сразу, моментально. И я, вместо того чтобы кончить композиторский факультет, ушел из консерватории. Другие были переведены к другим профессорам, а я считал, что мне одного диплома, как виолончелиста, хватит, поэтому с композиторского факультета я ушел тогда, когда был изгнан Шостакович оттуда.

Т.е. Вы прозрели намного раньше, чем случай с Солженицыным?

Да, правильно. Я прозрел намного раньше в смысле этой системы, в смысле музыки. Я понял, что люди, которые указывают, они ни в чем этом не разбираются. Но потом Шостакович сам меня потащил, вроде как за собой, прощая эту систему. Вдруг он выступил –"да, партия, правительство меня учат". А мне сам говорил: "Вы понимаете, это невозможно дышать, невозможно жить здесь". И вот я попал в такую двойную ситуацию, в которой я должен был верить и доверять тому, что говорит Шостакович, как мой близкий друг, и в то же время я должен был существовать так, как существует он. Он написал "Песнь о лесах" для Сталина, он написал симфонию, которая называется "Ленин", он написал симфонию, которая называется "1905 год". И только единственно его совесть

не позволила ему написать это так хорошо, чтобы это осталось в истории. Поэтому все вот эти продукции, так сказать, нажима на него — это все пойдет в мусор. Жаль, что время гения было на это убито. Но это пойдет все на свалку.

ВЛАДИМИР МАКСИМОВ

Можно и нужно говорить об ответственности поколения. Я об этом писал и говорил неоднократно. Почему, например, в Германии интеллигенция взяла на себя именно такую ответственность за все, что происходило при Гитлере? Каждый мыслящий немец, соучаствовал он в этом или не соучаствовал, сегодня считает себя ответственным. Почитайте-ка высказывания по этому поводу лучших людей современной Германии, предположим – Белля. Вне зависимости от политических убеждений, в чувстве вины они все едины. Так и мы. Всякий из нас так или иначе соучаствовал. Я не понимаю тех людей, которые теперь говорят о сталинизме, говорят о каком-то там усатом рыжем человечке, который всем командовал и все давил. Все они ходили тогда с партийными билетами, то есть сотрудничали впрямую. Но и те, кто был вне партии, так или иначе соучаствовали.

В том числе и я, хотя принадлежу к более молодому поколению (при Сталине я был мальчишкой). Но в то же время я еще при Сталине начал работать в газете: вел культурный отдел, отдел нравственных проблем. Но разве это не соучастие? Сейчас очень многие интеллектуалы, особенно здесь, в эмиграции, задним числом утверждают, будто они вообще всегда все понимали, всегда все знали. Но тогда отчего же они не расставались со своей "родной партией" чуть

не до последнего дня? А здесь, в эмиграции, все они -- большие борцы со сталинизмом. И мне близок человек, который осознает свое прошлое соучастие, даже если оно было косвенным. Зиновьев где-то сказал очень точно: "Сталин — это его окружение". А его окружением были мы все.

Но если они и не понимали, что творится, это не дает им права отрицать свою личную вину. Не обязательно, чтобы все и всё должны были понимать. Большинство ,не понимало. И сотрудничало искренне. И я тоже поддавался массовому психозу, хотя и прожил достаточно тяжелую жизнь, которая могла меня научить многому, хотя бы здоровому скептицизму. Но я уверял себя, что вот это и есть то, что необходимо человечеству и всем нам. Но теперь, после всего того, что открыто и засвидетельствовано, писать и говорить о том, что ты не соучаствовал, — по меньшей мере аморально. Каждый из нас был частью всего этого.

Недавно, например, в одном русскоязычном журнале бывший цензор КГБ назвал свои воспоминания о своей работе с обезоруживающей кокетливостью: "Я вскрывал ваши письма". Причем в этой работе он себя выдает за страдающую сторону: де, он был честен максимально в тех пределах, которые ему были доступны. Поди проверь теперь. Как видите, люди, даже осознавая, где они работали и что они делали, пытаются отмежеваться от своего прошлого. Мне кто-то говорил, когда я был в Израиле, в Иерусалиме, что бывший прокурор города

Киева, причем 1937, 1938, 1939 годов, выдает теперь себя за жертву антисемитизма и на этом основании требует от израильского правительства повышенной пенсии. И такое теперь бывает.

Поэтому сознание ответственности поколения — это единственное, что может нас оздоровить. Только сознание этой ответственности может вернуть нас к самим себе, сделать нас нормальным человеческим обществом. Я снова привожу здесь пример немецкой интеллигенции. И это помогло всему немецкому народу вернуться к самому себе, к своей изначальной сути. И вообще чувство вины, простите меня, может, большинство интеллигентов со мной не согласится, это одно из самых благодатнейших чувств, которыми наделен человек.

Приходилось ли Вам на каких-то собраниях участвовать в прямом осуждении кого-то, что затем привело к более серьезным мерам против этого человека?

Только однажды, когда человек уже был осужден и это уже ничего не меняло. Я осудил собственного отца, когда мне было всего 9 лет. И за это я очень дорого затем, в течение всей жизни, платил и плачу до сих пор.

Больше у меня не было случая участвовать в такого рода собраниях. Во-первых, я не был никогда членом партии, а во-вторых, мое общественное положение начало укрепляться в те годы, когда практика таких судилищ шла на спад, когда в этом уже не было нужды. Но даже в мест-

ных собраниях во времена моей работы на радио или в газетах я никогда не участвовал. К этому относились довольно снисходительно, так сказать, смотрели сквозь пальцы, потому что я с молодости в этих кругах имел репутацию чудака.

Вот Вы говорили о кокетливом непризнании многими людьми своей личной ответственности. При этом я не хочу сейчас называть имена, но встречаются случаи, когда люди козыряют участием других во всей этой пропаганде. Скажем, я помню недавно довольно неприятный случай, когда среди эмиграции в качестве идеологической, что ли, борьбы, а на самом деле – хуже, чем идеологической, была пущена копия Вашей старой заметки, написанной довольно-таки советским языком, с исключительной целью вот так вот односторонне указать на ответственность.

Я знаю, о чем идет речь. И я Вам должен сказать, что, как правило, этим занимаются люди, у которых рыльце в большом пуху. Каждый из нас в свое время мог сказать какие-то слова, это часто бывало. У меня, к примеру, на полке стоит "Литературная энциклопедия", где помещены несколько статей нынешних эмигрантов о писателях, достойных всяческого уважения, написанных очень советским языком и советскими определениями. Но у интеллектуалов, живущих в условиях диктатуры, иногда возникают ситуации, когда приходится отписываться, отговариваться, чтобы от вас отстали. Или по каким-то другим причинам. То же самое случалось и со мной.

Но если Вы просмотрите этот документ, то не найдете там ничего кроме общих слов. Такие отписки встречались у весьма уважаемых всеми людей – у Бориса Пастернака, у Андрея Платонова, у Дмитрия Шостаковича (сейчас в СССР вышла целая пластинка таких его отписок-отговорок, но от этого он все же не перестает оставаться Шостаковичем). В свое время Мейерхольд и Маяковский, вкупе с такими погромщиками, как Киршон и Вишневский, требовали в печати применения к Михаилу Булгакову "высшей меры социальной защиты", но, тем не менее, это еще не вычеркивает их из русской культуры. Даже гениальный Мандельштам не избежал соблазна "отписаться" от Сталина. Подобного рода поступок нельзя вычленять из конкретных обстоятельств, в которых он, этот поступок, был совершен. В эмиграции нынче много охотников судить о других (прежде всего о противниках) в меру своей собственной испорченности и оттенять свои грешки грехами этих других. Стыдно и горько было наблюдать, как у дверей зала, где происходили Сахаровские слушания в Вашингтоне, на которых рассматривались судьбы отдельных людей и целых народов, стоял довольно известный литератор со своей супругой, раздавая листовочки с целью скомпрометировать коллегу по профессии. Согласитесь, трудно представить сейчас, к примеру, Достоевского с женой, стоящих у входа Всемирного литературного конгресса середины прошлого века и распространяющих похожие листочки против Тургенева. И хотя упомянутый выше литератор далеко не Достоевский, а я,

тем более, не Тургенев, занятие это для русского писателя мне представляется постыдным. Пытаясь въехать в саморекламный рай с помощью чужих грехов, подобного рода эмигранты должны были бы прежде всего задать себе вопрос: почему же тогда в трудную для него минуту не к ним, а к Максимову обратился Владимир Буковский за помощью и почему не у них, а у Максимова находили ночлег и убежище еврейские демонстранты в Москве? Мне кажется, отсчет человеческих оценок в нашей среде должен идти не от совершенных в прошлом грехов, а от того, как каждый из нас оценивает это свое прошлое теперь и в какой мере компенсирует или старается компенсировать чувство личной вины за содеянное.

Поэтому я и предлагаю будущим читателям этих интервью просмотреть "Литературную энциклопедию". В свете сказанного выше, чтение очень любопытное. Я почему-то до сих пор не слышал от некоторых ее авторов никаких слов раскаяния. Разумеется, при желании у них найдутся этому объяснения, но ведь и у тех, кого они обвиняют, такие объяснения найдутся тоже.

Считаете ли Вы, что вот это осознание соучастия людьми старшего поколения поможет оздоровлению теперешнего поколения?

Во всяком случае будет способствовать этому.

Я возвращаюсь к новому поколению, причем живущему в России, потому что эмиграция –

это меня меньше беспокоит. Не может ли создаться такая ситуация, что новое поколение, скажем, начиная с моего, скажет себе: "Ну что ж, предыдущее поколение, поколение наших дедов и отцов виновато в том, что мы получили такую гадкую страну из их рук. Мы уже сделать ничего не можем, и нам остается жить так, как уготовано".

Едва ли. Но важно, чтобы каждый из нас, в меру своего видения и таланта, рассказал этому поколению, что на пути у нас были соблазны конформизма. И этих соблазнов конформизма или вынужденных, может быть, соблазнов молодое поколение может и должно избежать. Я даже подчеркнул бы слово, что *уже* можно. Судя по "Хронике текущих событий", география арестов и обысков все расширяется. Молодое поколение уже сделало выводы из нашего опыта. Сажают теперь, в основном, молодых, и они сознательно идут в лагерь. Причем это не только в Москве и в Ленинграде. Дошло до Чукотки, до Колымы, просыпаются Кавказ, Закавказье, не говоря уже о Прибалтике и Украине, которые всегда были в авангарде.

Но и ранее находились люди, которые с самого начала не шли на коллаборацию с системой, не шли на слияние с ее злом. Я могу привести примеры Кузнецова, Буковского, Горбаневской и еще двух-трех десятков людей, а теперь вот и братьев Подрабинеков. Ведь перед ними стоял выбор, им предлагали получить визы на выезд. Но эти молодые люди, у которых жизнь только

начинается, все-таки выбирают лагерь. Это значит, что новое поколение благодаря нам или нет, но выводы сделало. И мы могли бы только способствовать акселерации этого процесса, не более того.

Справедливо ли думать, что основным мотивом для Вашего поколения был еще страх, а для более молодых поколений страх уже не имеет такой силы мотивации и появляется новая мотивация для соучастия, для сотрудничества со всем тем злом, которое там творится? Появляются цинизм, безразличное, отрешенное от этических сомнений сотрудничество просто себе на пользу?

Абсолютно верно. И это, может быть, еще страшнее. Но я убежден, что цинизм — это та гниющая, ну, что ли серединная стадия развития общества, из которой уже вырастает что-то новое и здоровое. Стадия потери идеалов и, в связи с этим, попыток приспособиться к этой системе, совершенно не веря в эту самую систему, подходит к концу. И такие ребята, как братья Подрабинеки, лучшее тому свидетельство.

Это в рамках этики — осознание соучастия, осознание вины, донесение этого до следующего поколения. Ну, а если бы Вы, Ваше поколение действовало бы не так, что можно было бы делать? Вот сейчас Вы привели пример — люди сознательно идут в лагерь. Для людей Вашего поколения, как правило, не было такого решения; если они шли в лагерь, то не потому, что

сами это решили, в большинстве случаев. Не идя в лагерь или не ставя себя в ситуацию, в которой ты точно пойдешь в лагерь, что можно было делать тогда и что можно делать сейчас?

Это очень индивидуально всякий раз. Универсальных советов и каких-то окончательных решений быть не может. Но два девиза для выбора жизненной позиции уже есть. Один такой девиз выдвинул Солженицын, другой – Войнович. "Жить не по лжи" – это один выбор. Другой – "Хочу быть честным". Это, как говорится, программы минимум для каждого человека. А максимума нельзя требовать ни от кого. Максимум уже выбирает сам человек, как говорится, себе по плечу, по своим силам. Иногда, к сожалению, случается, что люди берут себе максимум не по плечу, и это очень плачевно кончается. Не буду приводить примеров, Вы их сами знаете, и они на протяжении последних лет несколько раз повторялись. Но как программа-минимум, все-таки постараться жить не по лжи или, как пишет Войнович, быть честным. В своем одноименном рассказе он действительно предлагает программу-минимум. Это даже не "жить не по лжи", что все-таки много для рядового человека, что есть уже груз и ответственность. Писатель берет обычного мастера на строительстве и показывает, как человек и в этих условиях, при всех обстоятельствах, все-таки может быть предельно честным. Тем более что с моей стороны, со стороны эмигранта, живущего, как говорится, за спиной у демократии, было

бы грехом призывать к какой-то борьбе, к каким-то там героическим поступкам.

Мы почти заговорили о концепции малых дел. Вы слышали, что такое выражение употребляется людьми, которые занимают посты, ежедневно принуждающие их делать что-то против их совести, но в то же время они используют эти посты иногда для совершения какого-то отдельного малого доброго дела. Что Вы думаете об этом?

Это, как Вы знаете, крылатая концепция еще с конца XIX века. Если это для человека не демагогия для того, чтобы оправдать свое сотрудничество с системой, а искренняя позиция – что ж, дай Бог такому человеку. К сожалению, зачастую это оказывается легким оправданием для срастания с тоталитарной машиной и сотрудничества с ней. Склонные к такому срастанию выбирают обычно весьма удобную формулу: "Если я уйду, будет хуже". И этим лицемерием пронизано все сверху донизу. Даже здесь, в эмиграции, договариваются до того, что, мол, Брежнев – это самое лучшее из возможного, уйдет, мол, хуже будет. Это мне напоминает анекдот, в котором двух ведут на расстрел, и когда один предлагает другому побег, тот спрашивает: "А хуже не будет?" Да нет, не будет хуже, потому что хуже уже некуда. Но, повторяю, если человек на своем посту действительно искренне что-то малое может делать, и хочет делать, и делает, то дай ему Бог.

А если человек считает себя честным, считает себя рвущимся к добрым делам и при этом идет в партию и строит карьеру, чтобы собой улучшить эту систему, как Вы к этому относитесь?

Это как раз демагогия. Я мог бы привести здесь пример одного моего друга. Он очень хорошую позицию занимает в эмиграции и делает много на своем малом месте, незаметно, но много, но в свое время он приходил ко мне и спрашивал: "Идти ли мне в партию?" Я тогда сказал ему: "Знаешь, если ты уже у меня спрашиваешь, значит, ты уже решил. Поэтому незачем даже говорить об этом". И человек пошел, и делал карьеру, но вот эта червоточинка, которая в нем была, хорошая червоточинка, она все-таки сыграла свою роль. И в конце концов он из всего этого сделал выводы. Он уехал и здесь делает какое-то дело, повторяю, незаметное, но ежедневное, постоянное и очень хорошее. Это всегда происходит сугубо индивидуально...

Ведь может быть, что человек идет в партию искренне и хочет изнутри там что-то делать, изменять. Но дело-то в том, что не от него зависит изменение системы. Все зависит, так сказать, от естественного отбора, который производит сама система. Мне кажется, прежде всего не систему бы надо менять, а нравственную атмосферу в стране, в обществе. Потому что если кто-то и ставит своей задачей менять систему изнутри (я таких очень много знаю, они работают сейчас на очень высоких постах), то, к сожалению, не они ее, а она их меняет. Это такая ми-

стическая машина, что она меняет вас незаметно для вас самих. И чем выше вы идете, тем больше приспосабливаетесь к этой системе (или она вас приспосабливает), хотя вы все время утешаете себя, что, де, "чем я буду выше, тем больше сделаю". Но по мере повышения такие люди делают все меньше и меньше.

Менять саму атмосферу в обществе, сами взаимоотношения между живыми индивидуумами — вот что, на мой взгляд, сейчас важно. Изменить социальные или политические обстоятельства, как показала история, это еще не значит изменить человека и общество. А вот попытаться изменить самого себя — это значит сделать шаг по направлению к тому, чтобы изменить общество.

Вы упомянули Войновича как пример человека, который довольно давно осознал все. Не является ли Галич примером вот такого же очень, очень раннего осознания, может — раньше многих других?

Галич почти на поколение старше. Войнович принадлежит к моему поколению, и мы уже, если говорить о поколениях, чему-то научились у предыдущих. Нас учили такие люди, как Пастернак, Паустовский, Некрасов. Каждый по-своему, они оказали на нас очень большое влияние. У Галича перелом произошел уже в довольно солидном возрасте. И здесь я должен сказать, что в отличие от нас Галичу было что терять. И он пошел на это сознательно. Он был очень престижным, богатым человеком, которому

практически разрешалось все. Он спокойно и часто посещал зарубежные страны, он имел очень многое. Как это ни парадоксально, но за фильм "Свидетель обвинения" он даже получил золотые часы от Комитета госбезопасности. Такие парадоксы у нас случаются. Можно получить часы от Госбезопасности за участие в фильме, но в то же время осознать себя в Сопротивлении и попытаться сделать все для того, чтобы хоть как-то компенсировать свое соучастие в зле. А это самое главное в человеке.

Из того, что Вы сказали, следует, что наше движение, общественное движение нашего поколения ни в коем случае не возникло на пустом месте, мы ничего не начали, мы только взяли какие-то сохранявшиеся предыдущими поколениями традиции лучшей части общества и выразили их более громко?

Да. Более громко, более организованно и стойко. И более, так сказать, общественно показательно. Я всегда утверждаю, что сопротивление не прекращалось практически на протяжении всей истории советского режима. Оно то уходило в подполье, то появлялось снова. Сейчас, в качестве редактора, я читаю очень много рукописей людей, которые еще при Сталине устраивали кружки и шли потом в лагеря... Помните конец первого тома "Архипелага"? Встретив этих молодых людей в камере, Солженицын восхитился про себя: пока он воевал, пока думал, что страна мертва, что нельзя ничего ска-

зать, выросло новое поколение. А ведь он пишет о 1945 годе. Многие участники тех молодежных дел сейчас живут здесь, за рубежом. Кружков, оказывается, было множество – неоленинские, неомарксистские, христианские, литературные. Это тоже было, если говорить на современном языке, демократическим движением. В наше время оно только полнее выявилось, получило возможность (целый ряд исторических обстоятельств сошелся) более или менее открыто и более или менее продолжительнее действовать. Не более того. А связь этого сопротивления никогда не прерывалась...

Мы часто, к примеру, говорим о китайцах, как о чем-то крайне монолитном. Даже поговорка такая в ходу – "как у китайцев", т.е. будто в солдатском строю. Но едва Мао умер, как сразу же появились демократические дацзыбао, подчеркиваю – демократические, с призывами к демократии. Нельзя убить историю, которая складывалась тысячелетиями, или народ, который складывался тысячелетиями, тем более невозможно убить народ за 30-40-50 или 60 лет. Дух свободы уходит на дно, под воду, но он всегда живет. Почитайте наших стариков, их воспоминания, к примеру, Евгению Гинзбург, а ведь она из партийной среды. Всегда огонек сопротивления теплился. И вышел на поверхность благодаря определенному стечению обстоятельств. История не может стоять на месте, остановить ее не может никто, даже Михаил Андреевич Суслов при всем его желании и возможностях.

Несомненно, религиозные чувства и принятие религии или возвращение к религии играют какую-то существенную роль в осознании всего того, о чем мы говорили. Считаете ли Вы, что в данном случае обращение к религии необходимо для осознания своей общественной ответственности? Или это гражданские чувства?

Для меня, как человека верующего, это главное. Но это не обязательно должно быть главным для человека неверующего. Я совсем не против того, чтобы человек начинал с гражданского, что ли, возрождения, стараясь, по меткому выражению Чехова, выдавливать из себя по капле раба. Многие мои единомышленники и я начали с осознания бессмертия человеческой души, т.е. с бессмертной ответственности за все, что ты делаешь. Религия прежде всего прививала нам чувство ответственности, ибо каждый поступок для верующего сверяется с тем, какую ответственность он будет нести за пределами бытия, а ведь недаром сказано, что, когда один голубь исклюет пирамиду, вечность еще даже и не начнется. Вера в наше время может поистине сдвигать горы. У нас на глазах пример Польши. Вы посмотрите, как религия сумела сочетать себя, так сказать, с общим национальным движением, как польские интеллектуалы сотрудничают и тоже сочетают свою борьбу с религиозным сопротивлением. Когда в кресты-памятники, которые поставлены в честь польских рабочих, монтируется еще и якорь – символ Армии Крайовой времен немецкой оккупации, то это свидетельствует о многом. Сочетание сопро-

тивления гражданского с христианским – это символ нашей эпохи. Пример Польши подтверждает, что можно не антагонизировать между собой, что религия не обязательно враждебная сила, предположим, социалистам или вообще какому-то политическому движению в обществе. Недавно вышла в свет книга польского социалиста, я его лично знаю, Адама Михника "Церковь и левые". Оказывается, эти две силы в Польше сумели найти модель слияния и сочетания интересов. Значит, это возможно, значит, общество делает какие-то выводы из своего прошлого опыта. Мне кажется, что польская модель для всех нас смогла бы стать примером. Но вот сейчас передо мной статья уважаемого мною человека, я ее буду, конечно, печатать с ответом. По ней получается, что страшнее религии ничего нет. И это пишет вчерашний христианский социалист. Он пишет также, что страшнее национализма ничего нет. Но национализм может быть разным, и в Польше национализм показал, что на определенном этапе он может быть и оздоровительным. В особенности после страшной болезни тоталитаризма. Не надо путать шовинизм с национализмом. А здоровый национализм – в условиях диктатуры – единственная возможность самосохранения порабощенных народов. Вы посмотрите, как сохранился благодаря этому украинский народ. Как сохранились благодаря этому и своей укорененной религиозности прибалтийские народы, не дав растворить свою культуру в интернациональном котле. И я опять возвращаюсь к Польше. Я повторяю, что ее

пример для всех нас мог бы стать сегодня моделью сопротивления.

Правильно ли я понял, что Вы указываете на пример Польши в смысле преодоления внутренних противоречий, в смысле увеличения общественной солидарности и, как следствие этого, прихода к какому-то социальному миру внутри страны? Ведь что происходит в России? Там противоречия общественные, противоречия между властью и обществом настолько сильны, что уже 60 лет страна живет не в обстановке социального мира внутри.

В России этот процесс, разумеется, будет более мучительным, потому что в России отсутствуют три важнейших фактора, которые характерны для Польши. Это – национальное, религиозное и географическое единство. У нас противоречия гораздо сильнее. Прийти к такому единству, которое бы противопоставило себя системе, у нас гораздо труднее. Не забывайте, что даже на скором поезде через эту страну из конца в конец надо ехать почти две недели. У нас больше сотни национальностей и добрая дюжина вер и верований.

То есть прямой моделью польские события не являются?

Они могут являться для нас хотя бы идейной моделью, вокруг которой с учетом особенностей нашей страны, особенностей нашего общества можно разрабатывать какую-то свою

модель. Но только, если мы друг к другу прислушаемся. К сожалению, чаще всего никто никого не хочет слышать и слушать. Все слушают только себя. И в этом смысле нам у Польши надо учиться и учиться. Мы начали первыми и все-таки не сумели выработать никаких организационных форм. Видимо, сказывается недостаток политической культуры, недостаток опыта сопротивления, который присутствовал к этому времени в Польше. Но, как говорят, учиться никогда не поздно.

ЭРНСТ НЕИЗВЕСТНЫЙ

Я себя не считаю ответственным за то, что сложилось в России. Потому что с юности, во всяком случае, я имел весьма маленькое отношение к советской действительности, за исключением того, что я ходил в школу. Я жил абсолютно в другом мире — в мире книг, в мире своих, так сказать, представлений.

Что же касается, допустим, близкой мне области формирования советского искусства, в котором я принимал участие, то все, что я делал, это делалось вопреки воле и желаниям идеологов и власть имущих, всегда вопреки, так сложилась моя жизнь. Ответственен ли я за то, что, допустим, временами я как бы вынужден был работать на них и для них? Я не считаю себя ответственным, такова моя профессия скульптора, скульптор не может жить в подвале, скульптор не может быть генералом без армии, скульптор всегда обслуживает общество или тех, кто хочет его скульптуру. Мою скульптуру не очень хотели, и я ее навязывал.

Каким образом это помогло власти или формировало Россию в том виде, как она сложилась сейчас, я не до конца понимаю. Так что ощущения ответственности у меня нет, у меня нет ощущения связи с коллективной ответственностью.

Я могу сказать только, что я со стыдом вспоминаю свою персональную ответственность в от-

дельных случаях. Это было иногда умолчание, умолчание истины ради, как мне казалось, служения чему-то высшему, иногда попытки просто, так сказать, навязать себя тому обществу, которое сложилось, именно навязать. Об этом я иногда вспоминаю со стыдом.

Но я могу даже гордиться кое-чем. Я в жизни не занимал никакого поста, нигде и никогда. Я не был причастен ни к каким формам власти, я всегда оставался только скульптором.

Как насчет офицерской власти?

Да, единственная власть, которая мне была дана, это была власть офицера. Я пошел добровольцем, я считал это своим долгом, как ни странно, и я до сих пор горжусь своим участием в Отечественной войне. Я не считаю, что это был поступок, который набрасывает тень, скажем, или делает меня ответственным.

То зло, которое Вы видели вокруг себя, налагало ли какую-то моральную ответственность в смысле сопротивления этому злу?

Ну, я сопротивлялся в тех пределах, в которых рассматривал себя компетентным, постепенно рамки сопротивления расширялись. И если кто-то меня называет диссидентом, я себя таковым не считал, но меня просто вынудили сопротивляться уже до предела, особенно в последнее время.

У меня как-то биография сложилась так, что ко мне никогда не обращались с просьбой

осудить кого-нибудь. Моя биография сложилась так, что я вырос в семье бывшего белого офицера, в семье бывших капиталистов. Иллюзий, связанных с советской властью, у меня не было никаких. Поэтому я никогда не прозревал в том смысле, что мне казалось, что я всегда был прозревшим. Единственная иллюзия, которая у меня была, это иллюзия романтической государственности, которая компенсировала как бы, некоторый баланс. Я сейчас говорю очень путанно. У меня не было политического прозрения, у меня было как бы антиромантическое прозрение, т.е. мне власть казалась более существенной и более целенаправленной в государственном плане, чем это оказалось.

Мое разочарование как раз было в государственности скорее, чем политическое разочарование. Это было эстетическое прозрение антиэстетической сущности происходящего.

ТАТЬЯНА ХОДОРОВИЧ

Я родилась уже после революции. Я считаю самым большим злом — Октябрьскую революцию, и Февральскую — тоже, гражданскую войну, раскулачивание. К этому поколению я не отношусь, я отношусь уже к следующему.

Сталинская власть упрочилась в то время, когда я уже была сознательной юной девицей. Но дело все в том, что я не считаю сталинское время наибольшим злом в нашей стране. Я считаю, что сталинское время обязательно должно было наступить после того, что принесла революция и принес гений Владимира Ильича.

Но все-таки, я думаю, если бы раздались наши голоса, то, наверное, что-то можно было бы сделать, во всяком случае — насторожить мир против того, что растет рядом чудовище. Вот этого мы не сделали. В этом смысле, может быть, мы ответственны. Но я не могу говорить обо всем поколении. Я могу говорить только о себе. Я не знаю, были ли люди осведомлены о том, что происходит вокруг, люди моего возраста, молоденькие совсем. Я могу сказать только о себе. Я знала многое, потому что я росла в особой семье, в которой ничего не скрывалось. И я уже знала, что такое Ленин, а не только то, что такое Сталин. Но я не находила путей для своих протестов, я не знала, как это сделать. Во мне были только смутное волнение и скука. Я вот помню, меня страшно угнетала скука.

Прямо накануне 1941 года, накануне войны, когда я была уже достаточно сознательной, когда я уже училась в институте. Я помню, я не находила себе места, я говорила: "Хоть бы что-нибудь произошло, хоть бы война". Эти мои слова были сказаны накануне начала войны. И женщина, которая их слышала, до сих пор их помнит и часто о них мне напоминает.

Я никогда не была пионеркой, комсомолкой, членом партии, естественно, тоже. Я сознательно, в 10-летнем возрасте, отказалась вступить в пионерскую организацию. Именно потому, что я все знала и уже видела, будучи еще, в общем, ребенком.

Можно ли об этом говорить, как о Вашей форме сопротивления?

Я думаю, что да, можно, потому что мой отказ вступить в пионерскую организацию повлек целый ряд неприятностей для меня и моих родителей, меня грозили исключить из школы, родителей вызывали в школу. Но семья была особая, и родители мои, даже вернее бабушка и дедушка, в семье которых я воспитывалась в детстве, они пришли в школу и сказали, что в нашей семье каждый, кто уже что-то понимает, решает сам и они не могут заставить меня вступить в пионерскую организацию.

Это семья старого дворянского рода. Дед мой перешел на сторону — не советской власти, он никогда не был на стороне советской власти, но он стал защищать Россию, как ему казалось, от интервенции тогда, когда иностранные госу-

дарства решили помочь сопротивлению белой гвардии. Тогда мой дед вступил в ряды партии. Но при этом он никогда не был коммунистом и впоследствии им не стал, он при Временном правительстве уже имел большой чин – он был адмиралом флота. И он при советской власти – поначалу были отменены тогда все эти звания, но потом они были восстановлены – был вице-адмиралом. Но он уже никак не действовал и ни в чем не участвовал, даже в войне.

Вот Вы сказали о Вашей личной форме сопротивления. Вот если сейчас говорить об ответственности поколения или многих людей Вашего поколения, что бы Вы могли сказать, что они могли бы делать кроме вот этой формы сопротивления, которая была у Вас?

Я не знаю, что они могли бы делать, потому что я никогда не могу навязывать кому-то свою точку зрения или упрекать в чем-то, чего я сама не сделала. Значит, я не вступила в пионерскую организацию, но в 10-летнем возрасте это редкость, чтобы ребенок сообразил, что вступать в пионерскую организацию – это плохо, притом, что кругом били барабаны, трубили трубы, были яркие галстуки и т.д. Для этого нужна была та семья, в которой я выросла, и дух тот, которым я питалась. Я не могу никого обвинить в том, что они так не сделали. Но дело в том, что потом я тоже ничего не сделала. Но не потому, что я боялась, вот этого чувства я не помню за собой. Скорее это было потому, что я не ви-

дела выхода, я не понимала, что что-то можно сделать. И, к сожалению своему, поняла это очень поздно.

Когда Вы это поняли, Вы сделали очень много своим участием в правозащитном движении, и это широко известно.

Помимо вот такого прямого сопротивления или демонстративного неприятия системы, какое у Вас было, были люди, которые считали себя хорошими и способными делать добрые дела и шли на прямое сотрудничество с этой системой в надежде ее улучшить. Скажем, шли в партию, чтобы в партии было больше хороших людей. Как Вы относитесь к этому?

Я слышала сама своими собственными ушами такую точку зрения. Мне люди говорили, даже мои коллеги по работе уже, когда я уже работала. Мне говорили: "Таня, почему бы тебе не пойти в партию? Ты все так хорошо понимаешь. В партии именно нужны такие люди, именно они могут что-то там сделать". Но я была достаточно уже хорошо осведомлена о том, что такое партия, и поэтому этого шага, естественно, я не сделала.

Я слышала, некоторые так делали, но, мне кажется, они говорили как бы в оправдание, что они пошли в партию для этого.

Я не знаю, это надо быть, по-моему, просто слепым, чтобы пойти в партию, преследуя такую цель. Тогда, значит, эти люди не были достаточно умны. Или они не были достаточно откровен-

ны. Я думаю так. Но надо знать каждого отдельного человека, сделавшего такой шаг, для того, чтобы ответить на этот вопрос правильно, не исказив. Вот во многих книжках я читаю сейчас, многие говорят о том, что они сделали этот шаг именно вот по этой причине, что они были идеалистами. Может быть, это и так.

Но все-таки, неважно, как человек попал в партию, и неважно, как он построил карьеру, отвлечемся от этого. Но если он уже занимает какое-то положение и он, пользуясь своим положением, участвуя в общем зле, все-таки пытается делать или делает добрые дела, какова нравственная оценка этого? Вы считаете, что он по-прежнему остается соучастником всеобщего зла?

Да, я так считаю. Потому что я была в условиях, близких к этому. Я после окончания института (я кончила педагогический институт) работала в школе с детьми, с мальчиками, тогда было раздельное обучение. Я работала с детьми с пятого класса по восьмой класс. Я проработала в школе четыре года, и когда я увидела все то, что там происходит, я немедленно подала заявление и ушла, хотя меня не отпускали, в те годы нельзя было уйти с работы. Но я добилась своего, я из школы ушла. Потому что я поняла, что я могу там работать только, говоря полуправду. Но говорить полуправду и тем более детям — для меня казалось невозможным, потому что для меня полуправда хуже лжи. И быть таковой я не могла, я не смогла, я ушла.

Я думаю, что каждый член партии, который понимает, какое зло он приносит, и старается все-таки делать какое-то добро, он поступает так же, он лжет и этим вредит, может быть, больше тех, которые приносят только зло.

Да, я думаю так. Так же, как я не люблю книги, в которых написана полуправда, спектакли, которые полуправду несут, живопись и т.д. Потому что полуправда, полуложь, в них труднее разобраться, люди больше запутываются. Они верят и талантливым художникам, которые, скажем, показывают полуправду, и писателям, и учителям.

Т.е. если на фоне общего зла кто-то, не отрекаясь явно и гласно от этого общего зла, пытается делать малые добрые дела, Вы не считаете это не только нравственным оправданием, но вообще считаете это безнравственным?

Нет. Нравственным оправданием я это не считаю. Но я никогда не ставлю крест вообще на людях, даже на людях, которые явно несут зло и на вид вроде бы не несут добра, потому что я считаю, что каждый человек на самом деле в какие-то моменты своей жизни, а может быть, и даже в повседневной жизни несет добро, поскольку оно в нем есть. Но беда в том, что советский режим это добро упрятал так глубоко, освободил так много зла в каждом человеке, что это зло затопило это добро. И если это добро пробивается, это хорошо, это не безнравственно, это нравственно. Но ведь это совсем не тот вопрос, который Вы мне задали перед

этим, -- что я считаю, если человек находится в партии, но при этом делает добрые дела, помогая общему злу. Я эти вещи разделяю, так же как я разделяю, скажем, сотрудников КГБ, которые находятся на своей работе, которые нас допрашивают, которые нас обыскивают, которые нас не пускают в суд, которые, не проводя следствия, устраивают ссылки, такие, как, например, Андрею Дмитриевичу. Но я делаю некоторую разницу. Это их отвратная работа, и они выполняют эту работу, значит, зло в них сильно придавило добро. Но я одновременно понимаю, что эти люди могут любить детей, любить собак, любить своих жен, кому-то помочь, например, вытащить утопающего из воды. Это разные вещи. Вот так же я отношусь и к членству в партии.

Через что Вы видите освобождение своей страны от этого великого зла?

Я вижу его только внутри каждого человека. Я считаю, что страна может быть освобождена только изнутри и только притом, что люди которые сейчас там живут, поймут, потому что у них закрыты глаза, когда они увидят все, что происходит вокруг, поймут свою роль в этом, в том, что происходит, потому что я не считаю, что только правительство делает все то, что сейчас происходит в моей стране. Нет, к сожалению, в этом участвуют и люди... Но эта система дьявольская, которая захватила и народ моей страны, этот народ сейчас, за 60 лет, он ослеплен. Но он должен прозреть. Он должен понять, что он имеет права такие же, как и другие люди,

которые живут на планете, что он рожден уже свободным человеком и он должен быть свободным человеком, должен иметь достоинство, честь, настоящие, а не те, о которых без конца, искажая, говорят и говорят советская печать, газеты, радио, художники и т.д.

Вы сказали, что избавление от зла возможно, если каждый поймет это. Во-первых, не такая ли сейчас ситуация, чтобы каждый понимал или почти понимал? И во-вторых: как сделать так, чтобы они поняли, если они не понимают?

Я думаю, к сожалению, что не может сейчас там каждый понимать или почти каждый понимать. Потому что, если на минуточку представить, что люди читают, что они видят, что они слышат, как на них действуют окружающие их люди плюс страх, все это давит и все это делает их слепыми. Некоторые закрывают глаза, потому что им закрывают их насильно, другие сами закрывают глаза, потому что боятся их открыть, а третьи просто с закрытыми глазами с детства.

Я думаю, что то, что сейчас делают здесь те люди, которые понимают, что такое Советский Союз, понимают эту систему и не считают людей, которые живут в той системе, рабами, рабами рожденными от природы или исторически сложившимися рабами, а относятся к ним, как к обыкновенным людям, как к себе подобным, вот если такие люди будут стараться объяснять этим людям вот то самое, что я здесь сказала, тогда это принесет свои безусловно по-

ложительные плоды. Для этого есть всякие виды информации, в первую очередь – радио.

Т.е. главным путем Вы считаете просвещение?

Просвещение. Плюс, я считаю, что для русских людей, для русских, для украинцев, для белорусов очень важна вера, которая была задавлена, загублена, забита и искажена теперь. И очень важен возврат к вере. Не то что возврат, ну, как бы прозрение в этой области тоже. Мне кажется, что это сильно улучшило бы положение. Потому что в людях искоренено понятие греха, грех и, наоборот, достоинство, все перемешано в той системе, сознательно. И вот люди должны из этого выйти и понять, осознать, что такое грех. И это им тоже поможет выбраться из того состояния, в котором они находятся.

Но это долгая история, и я не надеюсь на то, что какие-то изменения произойдут в моей стране в ближайшее время. Хотя я верю в чудо.

Может быть, то, что мы дожили до сопротивления, уже есть чудо?

Да. И это уже чудо.

НАУМ КОРЖАВИН

Поколения – это не футбольные команды. Они, во-первых, не составляют единого целого и, во-вторых, не воюют друг с другом, потому что эта война может кончиться вообще гибелью страны. Впрочем, так в данных условиях тоже может кончиться, но это другой вопрос.

Наше поколение, т.е. я беру таких людей, как я – я родился в 1925 году, в день смерти Сталина мне было 28 лет, наше поколение всегда ощущало себя ответственным, но как-то не в этом плане, не в уголовном. Понимаете, было несколько поколений. Были поколения, которые жили до нас, взрослели до нас, допустим – поколение Смелякова, Дудина (я говорю о поэтах). Люди этого поколения более несчастны, чем мы, потому что они уже полностью созрели к этому времени. Они стали взрослыми людьми, все параметры их жизни были в этом, я бы так назвал, диалектическом коммунистическом идеализме. Диалектический идеализм – это вещь несколько относительная и странная, но в этом люди жили. И это вовсе не значит, что это были нечистые люди, все как один. Все-таки они полегли на фронтах, они часто на фронтах вели себя очень хорошо, а война с фашизмом все-таки была, я считаю, заслугой России, победа в этой войне – ею все равно надо гордиться, хотя она спасла и Сталина, и спасла очень много страшного. Но это поколение было еще более слепым, чем наше.

Наше поколение – я говорю об интеллигенции – в общем вовсе не было таким послушным или таким бездумным. Поколение всегда – это какое-то меньшинство людей данного возраста, мыслящее меньшинство. Это мыслящее меньшинство нашего поколения мыслило. Оно мыслило, как люди мыслят в закрытом обществе, параметры мышления были, может быть, какие-то очень неточные, относительные. Тем не менее оно мыслило. Оно мыслило в коммунистическом плане, это правда, но при Сталине коммунизм был тоже запрещенной идеологией. При Сталине все идеологии были запрещены. И советский человек, особенно моего поколения средний человек так же мало знал о коммунизме, как и о капитализме, даже, может быть, еще меньше, потому что тут было еще больше легенд, еще более концентрированная антипропаганда – пропаганда пустоты, потому что сталинская пропаганда – не пропаганда греха, каким был коммунизм, а пропаганда чистой пустоты. Сталин – это посткоммунизм, а не коммунизм. Я об этом все время пишу. Это не значит, что коммунизм имеет какие-то оправдания, коммунизм несет полную ответственность за Сталина, потому что он его создал, он его привел к власти – и он от него погиб, но это уже – каждый развлекается как может.

Мы развлекались тем, что сначала восстанавливали для себя коммунизм, относительно, конечно, но все-таки восстанавливали. Многие люди за это сидели в тюрьме, именно за коммунизм, за то, что читали Ленина, за то, что чита-

ли Сталина -- даже Сталина, Маркса и все такое.

Но дело не в этом. Дело в том, что мы пытались нащупать, все мы были археологами, археологами современности, мы по каким-то отдельным деталям восстанавливали картину прошлого -- не очень точно, но все-таки восстанавливали. Потому что была пустота жизни и надо было как-то понять, что происходит. Я не скажу, что это было чистой всегда оппозиционностью. Даже те, кто сидел, далеко не всегда были оппозиционерами.

Я вообще почти никогда не был сталинистом, но два года был, и вот в результате этого сталинизма меня и посадили. Потому что, когда я был сталинистом, я не боялся говорить. Это был единственный период, когда я не боялся говорить, поскольку я считал, что я -- свой. А когда я не был сталинистом, я не считал этого. И сел я не за то, что что-то сказал, в общем сел я за личность, за активность, за внутреннее проявление. Я говорил тогда довольно страшные глупости. Но дело в том, что сталинизма тоже не требовалось, сталинизма не было, была власть Сталина. Как Редлих сказал -- сталинщина, -- это правильно. Сталинизма не было, нет такой теории, даже такой ложной теории, как ленинизм, которая тоже не теория, но все-таки что-то, набор каких-то импульсов. Сталинизм -- это что-то совсем другое, не похожее ни на что. Люди искали хотя бы что-то, даже признания, но и признания существующего строя не требовалось, требовалось только раболепие или бездумие. И самому можно было при этом проявлять

храбрость, если, допустим, приказано на фронте или что-то еще, но ничего своего нельзя было проявлять никому, ни последнему дворнику, ни Маленкову даже, никому вообще. Это была странная такая жизнь. И когда я сел, я излечился от этого приступа сталинизма, который у меня был после войны, такого разумного сталинизма – с Гегелем и со всем прочим. И мне до сих пор стыдно. Мне стыдно, потому что это было честно. И было возвращение сначала к коммунизму.

Почему стыдно, если это было честно?

Потому что я вообще мало верю во взгляды. Я думаю, что все-таки это было желание раствориться, все-таки это был такой конформизм, который часто бывает у молодежи в тоталитарном обществе. В нетоталитарном обществе у нее этот конформизм проявляется иногда в бунтарстве даже, это не всегда самостоятельность. А тут вот такое восхищение бессмыслицей, потому что есть какие-то вещи, которыми лучше восхищаться просто, потому что иначе их нельзя принять. Это инстинктивная и какая-то, наверное, нехорошая вещь.

Вы говорите о времени после войны?

Я говорю о времени перед войной и после войны. Перед войной мне было 16 лет. Но меня уже исключили из школы за стихи какие-то. Не заметить, что это было все фальшиво, было все-таки трудно. Я считаю, что литература совет-

ская сталинского периода – я говорю о литературе, поскольку я был с ней больше связан, – могла не понимать, кто такой Сталин, допустим, но не понимать того, что душно, она не могла. Можно было многого не знать, потому что советская действительность сама себя скрывает и люди ничего не знают о том, что происходит рядом. Но того, что душно, что противоестественно, писатель не мог не знать. А вот все-таки както люди умели создавать себе и романтику, и все такое.

Я 20 декабря 1947 года был арестован, потом восемь месяцев был в тюрьме, а потом был в ссылке до 1951 года. Потом жил просто так в разных местах. И в это время и сам я пытался понимать, и способствовал просвещению сознания. Правда, уже появлялись какие-то мысли, что и коммунизм с самого начала – что-то не так. Но было мало информации. Немножко подходило иногда раскулачивание. Но окончательно от коммунизма я начал отказываться после Венгрии. Но, видите ли, я не могу считать, что я ответственен за ту жизнь, которую я застал. Я ее застал, и ответственным за нее я быть не мог. Я считаю, что весь коммунизм – преступление, но я этого не знал, действительно не знал. Может быть, романтика – это дурная вещь, которой я по младости лет предавался. Но про коммунизм я только в году 1957-м начал понимать, что это что-то такое само по себе плохое, сама логика коммунизма. Понимаете, я знал тех, кто болтает, несет казенные фразы, но однажды я прочел дискуссию в венгерской печати о венгерском

восстании, вещь была ясная, а там были споры каких-то венгерских коммунистов, и я вдруг увидел, что это – коммунисты, что они серьезно размышляют и тем не менее для них сама истина не существует, что она какая-то диалектическая, вот ясный факт – а его вроде и не было, и он вообще не такой, и он какой-то странный. И я вдруг понял, что это страшно, что так можно принять что угодно и даже не заметить, что ты принимаешь, и что это ведет к полной безответственности. И только тогда у меня родилось уже представление о личной ответственности: что надо самому все понимать, что надо не повторять.

Это не значит, что надо обязательно всем возражать, это не значит все отвергать, но надо все стремиться видеть. И отвечать только за то, что ты сам знаешь, и говорить людям то, что ты знаешь. Слушать других, если у них есть доводы, пытаться их понять, если они что-то такое говорят, но знать свое. Принцип терпимости, какой в эмиграции распространен, я считаю пошлостью. Что значит "терпимость"? Терпимость – это политическая вещь, терпимость – это юридическая вещь, но интеллектуальной такой вещи нету. "Да будут ваши слова да – да, нет – нет". Другое дело то, о чем я говорю, – уважение к истине. Если два человека спорят, я не могу начисто сначала отвергать все, если человек говорит нечто, не согласное со мной, потому что он может оказаться прав. Но мы оба должны уважать истину, уважать доводы; это – не терпимость, это – уважение к истине. Но есть какие-то вещи, которые я

могу считать глупостью, – я так и считаю. Есть ответственность еще. Ответственность за свое суждение – "да – да, нет – нет".

Пускай тебя считают дураком, кем угодно, но если ты знаешь, что это так, ты должен говорить, что это так. Это закон мышления. Иначе невозможно. Иное физиологически противно человеку.

Я не обманывал никого, кто жил после меня. Я сделал все возможное, чтобы у людей была какая-то ответственность за свое поведение, за свои мысли и т.д. Предпоследнее время жизни в России – последнее время я уже осатанел политически, все ненавидел просто – я считал, что нужно пропагандировать ценности, искусство, понимание, что это более важно. И это действительно было бы более важно, если бы не началось скатывание России в пропасть, когда уже все становится неважно. Психушки, всякие такие вещи – это уже вне политики, это что-то страшное вообще. От этого я просто осатанел. Хотя мне от этого плохо, потому что в принципе я бы не хотел думать о политике. Об истории – другое дело, о политических страстях, которые волновали людей, – пожалуйста, но не это.

Бывали ли у Вас случаи, когда бы Вы участвовали в собраниях, в осуждении кого-либо, в голосовании против кого-либо?

Я не припомню таких случаев. В детстве – не помню, в детстве я вообще был протестант. Это могло быть в 1946 году, но, по-моему, не было. Даже не столько из-за меня, а просто все осужде-

ния начались после того, как меня арестовали. Потом, понимаете, хотя я был большой сторонник идейности и, когда было постановление ЦК об идейности, я бы, может быть, даже принял его. Зощенко я тогда не понимал и думал, что он действительно остряк просто, а Зощенко – великий писатель. Но насчет Ахматовой я точно знал, что Ахматова – большой поэт. Даже в этот период, за который мне больше всего стыдно, хотя это было вдохновлено победой и хотя это тоже, как ни странно, было путем возвращения к ценностям, к России, ну, я обо всем этом написал уже... Вообще развитие людей и даже поколений – оно странное. При всем при том во всем этом был отказ от такой абстрактной романтики. И тем не менее, может быть, все это было глупо, а Россия была действительно ценностью, это правда, и от этого я и потом не отказался. Но в прямых осуждениях я никогда не участвовал, мне просто и не пришлось. Осуждали, в основном, меня чаще всего.

Бывают или бывали случаи, когда люди, намеренные делать добро и сознающие, что они могут делать добро, строят карьеру, вступают в партию, чтобы улучшить собой эту систему. Как Вы относитесь к этому?

Улучшать систему не нужно. Я, когда жил в России, не собирался в партию, потому что я считал, что мне это невыгодно. Так меня могут только посадить, а так еще навесить ярлык "исключенный из партии". К членству в партии я теперь отношусь вполне цинично, я считаю, что оно во-

обще ничего не означает. Систему нельзя улучшить, это ерунда. Но если можно, допустим, выпустить несколько хороших книг из-за этого, то, может быть, и стоит. Нельзя же всем уехать в эмиграцию, что-то надо выпускать, какие-то книги выходят, культурная жизнь страны -- это нужно. Я не считаю, что это разумный путь, -- я не осуждаю, что так делают. Но теперь, по-моему, это стало невозможно, потому что жизнь стала настолько жесткой, что, когда человек еще продолжает, это как-то еще идет у него, а чтобы молодой человек вступил и у него что-то получилось -- нет, не думаю. Я считаю, что и нецелесообразно просто. Хотя вообще это плохой путь. Я не шел никогда этим путем, и никто из моих близких друзей тоже не шел. Было другое -- люди вступали на фронте во время войны, таких людей я знал, или вступали, когда Сталина разоблачили. Они не для карьеры вступали, а просто, чтобы в партии были хорошие люди, таких я тоже знал. Я тогда относился к этому плохо, и сейчас -- тоже.

Вы верите в их искренность?

Да. Потому что они не делали карьеры. Те люди, которых я знал, не делали карьеры. И потом всю жизнь мучились. Их волокли на собрания, сделать они ничего не могли, а выйти тоже не могли. Я не утверждаю, что все люди, которые вступали, делали так -- т.е. делали искренне, я говорю о тех, кого я знал. Я должен сказать, что я, может быть, и лишку сказал насчет того, что, может быть, стоит идти в партию. Я бы не

осуждал, но мне это претит. Я осуждаю людей не за символы, а за поступки. Это мой принцип. А за символы я не могу. Быть гражданином СССР – это уже плохо. А представьте себе, что вы хозяйственник по призванию, вы же ничего не можете делать без этого дурацкого партбилета. А это ваше призвание. Я не могу требовать от людей, чтобы они отказывались от своего призвания. Если, конечно, не ценой подлости, подлых поступков. У Солженицына справедливый принцип "жить не по лжи", и это правильно, но этот принцип тоже сформулирован позже, чем те времена, о которых мы говорили.

Теперь уже бóльшая поляризация, теперь уже, простите за некоторую путаницу, и символы что-то значат.

Никто из моих друзей не вступал в партию, и я об этом не думал. Это же советская жизнь. Разве мы определяли порядочность по членству в партии? Нет же. Были хорошие писатели – члены партии, а был беспартийный Соболев, который делал черте что.

ВЕРОНИКА ТУРКИНА

Если человек в какой-то мере понимает, что происходит, то его участие — грех действительно. За это он, конечно, несет полную ответственность.

Я в ответе только за свое поколение. Были счастливые, которые дома все слышали, все было им примерно ясно. А были те, кого отдали на откуп школе, вот это было в моем случае. Когда боялись, что дети будут расти с раздвоенным сознанием, это ненормально, вырастут — сами разберутся. А, может, и просто боялись, потому что семья моя состояла из одних женщин и семья была очень неблагополучная. Все мужчины были или в эмиграции, или умерли от тифа, или были перебиты. И уже потом, когда мы стали взрослыми, мы понимали, почему мы дома никогда не слышали, о чем разговаривают взрослые.

Раздвоение все равно было внутреннее, какое-то неосознанное, потому что родственников сажали, мы хорошо знали, что они ни в чем не виноваты, а тем не менее их сажали и они погибали. Раздвоение было, только недодуманное до конца. Я была комсомолкой во время войны. Но когда вернулись в Москву, я выбыла из комсомола тихо и спокойно, это мне все было очень неинтересно.

В партию меня очень тащили, потому что я в какой-то мере довольно активный человек. И

меня очень тащили, но Бог спас. Первичная партийная организация была настолько ужасна, настолько там были непорядочные люди, что просто невозможно было вступить в партию.

Когда умер Сталин, мне было 26-27.

И со смертью Сталина, во всяком случае, мое поколение могло прекрасно все сообразить. Во-первых, оно просто в лоб все это услышало. Потом начали возвращаться люди из лагерей. И те, кто не хотел думать, они просто спрятались сами от себя.

А Вы?

Нет.

Прозрение происходило постепенно. Например, я очень долго считала, что Ленин, опять-таки не думая просто, это, наверное, женская несчастная привычка, что Ленин-то, наверное, хотел, чтоб все было иначе. А потом все встало на свои места, с кем-то поговорила, кого-то послушала, прочла — в этом отношении книга Валентинова очень хороша, "Встречи с Лениным". Я ее читала где-то в начале 60-х годов.

Как раз в этом случае помогло общение с Солженицыным тоже. Потому что толчок был сделан в этом направлении, наверное, разговором с ним. Я прочитала "Ивана Денисовича", когда он еще не был напечатан, и, ахая и охая, сказала: "Боже мой! Если б Ленин был жив!.." Какую-то такую пошлость. А Солженицын очень удивился, не стал мне чего-то там объяснять, он этого не любил, и сказал: "Причем тут Ленин? Сталин очень последовательный лени-

нец". И я помню, что это меня коробило в тот момент. Ну, а потом я стала думать, смотреть. Информация нужна.

За что же Вы ответственны?

Ответственна за личную непорядочность, наверное. Потому что общество все-таки состоит из людей.

За свою непорядочность? Вы кого-нибудь осуждали, Вы участвовали в преследовании кого-то, Вы на кого-нибудь доносили?

Нет, нет, я не участвовала. Но есть совсем личная ответственность – вот, ты кого-то заложил, ты кого-то завалил. А наверное, есть еще общая. Вот в этой общей я себя с какого-то момента считала ответственной, мне было всегда очень стыдно. Когда, например, я в первый раз поехала в Латвию или когда я поехала в Чехословакию, я помню, что главное мое чувство было – стыд. Особенно было стыдно, когда вошли войска в Чехословакию, мы там были в это время.

Ну, это стыд за свой народ перед другими народами. А как насчет перед собственным народом, перед новым поколением?

Ответственна, конечно, хотя с того момента, когда у меня примерно частично что-то стало на свои места, я уже от этого никогда не отказывалась и говорила об этом, говорила об этом своим ученикам, это моя была, так ска-

зать, просветительская деятельность. Мне, правда, очень везло, меня никто не контролировал, а стукнуть – никто не стукнул. Все, что я понимала, все, до чего я доходила в то время, я всем делилась со своими учениками, а они, бедненькие, наверное, считали, что, наверное, это можно, раз учительница говорит.

Вот есть люди, которые в какой-то момент вдруг осознали, что все так плохо вокруг, и они способны творить добрые дела, и неплохо бы собой улучшить эту систему, пойти в партию. И многие так и делали. Как Вы к этому относитесь? Верите ли Вы в искренность этого?

Нет, не верю.

... Я не знаю, каким образом, но мы маленькие, это был, предположим, 1937 или 1938 год, когда ходили в школу в первые классы, ведь мы же все время боялись, неизвестно чего. Мы боялись не так сказать, не то сказать. Нас не учили даже. Вот меня дома не учили, что нельзя говорить, при нас вообще ни о чем не говорили. Но это было в атмосфере, это чувство страха. Я в это верю, в атмосфере может быть общее чувство. И при всяком звонком патриотизме оно все равно присутствовало.

На самом-то деле я не понял, за что Вы ответственны.

А это, наверное, тоже. Эта причастность ко всему, что делалось в твоей стране людьми, которые живут в этой стране, пускай другого поколения. Но все равно.

Ну, а что б Вы могли сделать? Вы не понимали, и до какой-то поры Вы можете считать себя не ответственной, пока Вы не поняли.

Хотя бы за это я должна себя чувствовать ответственной.

А что бы Вы могли? Справедливо ли, морально справедливо ли, что в любом случае Вы ответственны? И понял – ответственен, и не понял – тоже ответственен. А если б Вы поняли, что бы Вы могли делать? В чем ошибка Вашего поколения или Ваша, что Вы не сделали? Вот Солженицын писал об аресте, как было странно, его везли в метро, а он не сопротивлялся. Вы не были в этом положении. Что Вы могли бы делать?

Вот мы не поняли. Я думаю, что мы и не хотели понимать. Не хотели и боялись. И это тоже вообще дурно. Это инстинкт самосохранения. И мы держались за этот инстинкт. Мы не были мужественными, что ли. В моем случае я бы это называла недомыслием. Но это недомыслие – тоже была, наверное, трусость. Недодумывать до конца какие-то вещи, которые опасны. Это очень трудно сказать – если бы вы поняли, что бы тогда могли делать. Я думаю, конечно, не браться за оружие. Себя вести в каких-то случаях, может, по-другому.

Я человек очень нечестолюбивый, поэтому я никогда не лезла, мне было не интересно делать карьеру, идти в аспирантуру или еще что-то, мне этого не хотелось просто. Но кто-то, кто делал карьеру, маленькую, в советских условиях,

он больше сталкивался с администрацией, больше сталкивался с тем, что надо с кем-то там конкурировать, где-то лгать надо. Может быть, они бы по-другому себя вели. А мы бы раньше поняли – раньше об этом говорить бы начали. Хотя при Сталине это было, конечно, очень опасно. Но все равно же жили. В этом отношении ведь ничего же умнее и не придумаешь, чем солженицынское "жить не по лжи". И никуда мы от этого не денемся. И ничего в стране глубинно не изменится, пока люди не захотят этого все. Я только в это и верю. Потому что общество состоит из людей, пока люди не стали лучше -- ничего с этим обществом не сделаешь.

ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВА

Я не могу сказать, чтобы я так мучительно раздумывала тогда над темой ответственности, как, скажем, судя по книжкам, Лев Зиновьевич Копелев над этим раздумывал. Я и помоложе, и непосредственно во всех этих гадостях не участвовала, может быть – поэтому. У меня чувство вины, тем не менее, есть, как, наверное, у каждого человека, который хоть немножечко испытывает отвращение от всего, что происходило вокруг. Я это почувствовала даже не столько сознательно, сколько интуитивно. Между прочим, остро, первый раз и, наверное, единственный раз в жизни, это произошло, когда советские войска вошли в Чехословакию. Я вдруг почувствовала острый стыд за это. Это было сознание какой-то общей вины, в том числе моей тоже.

Общей или только партийной? Вы были тогда членом партии.

Я была членом партии, да. Я в 1952 году, между прочим, вступила, это уметь надо. Острый стыд-то я почувствовала, потому что я свою вину почувствовала, за чужих чего ж острый стыд испытывать.

То, что я вступила в партию (мне было тогда 25 лет), тоже, между прочим, с чувством ответственности связано. С чувством ответственности с одной стороны, а с другой стороны – с тем,

что в общем я худо понимала, что происходит вокруг. Я понимала, что все худо, но у меня возникло самое простое объяснение – что в общем-то в программе партии все написано хорошо и если бы все было так, как там написано, то все бы и было хорошо. Но я видела, что все, что делается вокруг, очень не соответствует программе партии. И я думала, что нельзя от этого устраняться, нельзя сидеть по углам и ругаться, как плохо все происходит, а надо самим стараться исправить. Единственная возможность участвовать в общественной жизни в то время, я, во всяком случае, не видела другой, это было стать членом партии. Тем более что у меня не было ощущения дурности ее идеалов, наоборот, я считала, что все худо потому, что идеалы не воплощаются, что в партию, поскольку она стала правящей, пролезли люди, которые своекорыстны, которые волнуются о собственном благе, а не о выполнении ее программы, и надо этих людей оттеснить и работать самим.

Т.е. Вы относили это за счет вредительства?

Нет. Так элементарно я не думала. Не за счет вредительства, а за счет равнодушия к идеалам партии, которое я видела вокруг. И я решила, что я вот сама пойду и буду этим заниматься, и считала, что каждый должен так сделать, кто понимает, что все худо и что нужно исправлять. Глядишь, общими усилиями удастся как-то исправить. Довольно быстро после того, как я вступила, примерно года за два, у меня эта уверенность испарилась. Я поняла, что я могу сделать карьеру, но ничего не исправлю в ситуации.

Вы рассчитывали на большую карьеру?

Нет. Я как раз думала исправлять, а оказалось, что у меня хорошо идет с карьерой, но ничего не получается с исправлением.

Я начала на очень низких ступенях этой лестницы. Я тогда была после университета распределена в ремесленное училище учительницей, и я там вступила в партию. И это были мастера и преподаватели ремесленного училища, это очень жалкая публика. И я должна сказать, что у них никаких, во-первых, не рождалось возражений против моих действий, они ни разу даже из осторожности мне не возразили. Я думаю, что это потому, может, что я была женой полковника, я кончила университет, конечно, я в общем по рождению принадлежала к более благополучной публике, чем они сами, и, наверное, они просто думали, что я знаю что-то такое, чего они не знают. Потому что, когда было дело "врачей-убийц", я мало того что на уроках объясняла, что не надо это связывать с национальностью большинства арестованных, но я выступила на партийном собрании и говорила о том, что наш долг, долг членов партии, разъяснять это, что это чистая случайность, что среди них большинство – евреи, и мы должны стараться остановить антисемитизм, который может это вызвать. И мне ни один человек не возразил, и никто на меня не донес. Ну, не то что я думала, что я говорю так, как партия думает.

Я должна сказать, что я слишком поздно родилась, чтобы бояться. Я, правда, не боялась.

Не оттого, что я такая смелая была. Я не понимала размеров сталинских репрессий. Я только после XX съезда поняла, как это было грандиозно.

Скажите, пожалуйста, вот я многим задавал вопрос: "Как Вы относитесь к ситуации, когда человек, хороший, желающий делать добро, вступает в партию, чтобы ее улучшить собой?" Т.е. я задавал вопрос практически о Вас, поскольку Вы мне это сейчас рассказали. Ответы в подавляющем большинстве случаев сводятся к тому, что они в это не верят, что человек искренен, они относят это за счет попытки оправдания и прикрытия своих карьеристских соображений.

На основании собственного опыта у меня есть некоторые коррективы к этому ответу. До XX съезда возможны случаи, когда люди искренне вступали, как это ни странно. И вот в период сразу после XX съезда, ну, может быть, год, потому что была надежда на то, что вдруг это серьезно будет. После этого все достаточно хорошо понимали. Когда вступали после 1957 года, я считаю, что это нечестно. Я,во всяком случае, не видела людей, в искренность которых бы я верила. А людей, которые, скажем, на фронте вступили в партию, или людей моего поколения, которые вступили в партию после войны в довольно мрачное время и в то же время не имели в виду сделать карьеру, я просто знаю очень многих. Не только себя. Ведь дезинформация была колоссальная. И это сейчас мы та-

кие умные. Я тогда, правда, не знала, сколько бы ни говорили, что это невозможно было не знать, а я не знала. У меня не было, как это ни странно звучит, близких в семье — репрессированных. А если кто и знал из наших знакомых, то, видя мою дурость и мою неосведомленность, они, по-видимому, просто не решались со мной разговаривать.

Вот Вы говорите о репрессиях как об индикаторе того, что что-то не в порядке. Что, кроме репрессий мало было индикаторов, по которым можно было бы судить? Например, бедность людей, несоответствие положения людей утверждениям пропаганды, просто открытая ложь, которую, проследив за десятилетия, можно было заметить?

Да, конечно. Но надо сказать, что опять же тут, наверное, мой еще возраст сказывался. Когда началась война, мне было 14 лет. Я довольно хорошо помню 1937 год, я помню, как мы вселились в дом пятиэтажный, большой дом, в котором освободилось много квартир, потому что людей арестовали. Эти люди были сослуживцами моего отца. Но отец мне не рассказывал об этом. Он был экономист, он работал в Центросоюзе, он был референтом председателя Центросоюза Зелинского, который был арестован. И из 300 человек в партийной организации Центросоюза не арестованы были трое — и среди них мой отец. По совершенной случайности, потому что Зелинский, когда он был арестован и из него выбили показания, во всяком случае,

он дал показания, что он организовал в Центросоюзе какую-то там подпольную организацию, которая собиралась на свои сходки в центросоюзовском доме отдыха,– ну, просто туда ездило начальство, знаете, на даровые харчи в субботу и воскресенье. Мой отец там не был ни разу, потому что он патологически не умел пить, он пьянел от одной рюмки. И он очень стеснялся этого своего немужского качества. И он ни разу не поехал туда, хотя его много раз приглашали. И когда начались повальные аресты, он не был арестован, потому что он ни разу там не был, ни разу не ездил в этот дом отдыха. Вот такая случайность спасла его от ареста.

Его исключили из партии за притупление бдительности – вокруг были враги, а он не заметил. Через полгода его восстановили в партии. Ну, там он полетел с большой должности на маленькую, но это все была чепуха по тем временам. Я думаю, что он подозревал, что дело нечисто, но они никогда с мамой ничего при мне не говорили. Я не знаю, из осторожности ли; не знаю, насколько сами они все это понимали. Они были очень преданы советской власти. Отец мой в начале войны ушел на фронт добровольцем. Он имел бронь по своей работе, и он делал какие-то фокусы, какие-то ухищрения для того, чтобы от этой брони избавиться, и ушел буквально в первый месяц. Когда я приехала из Крыма, я в Крыму в это время была, я его видела уже в военной форме, и он мне сказал такие слова: "Людочка, я иду отстаивать советскую власть".

У него никогда никаких идей по поводу там России или чего-нибудь такого не было, он был абсолютный интернационалист. Это они мне, между прочим, передали, остальное я очень много растеряла из их наследства, но вот отвращение к какому бы то ни было проявлению восторга перед национальной исключительностью – это у них у обоих было. Для него это была прежде всего советская власть, а потом уже всякое там другое.

Вот если говорят, что Сталин возрождал национальную идеологию, потому что люди не хотели сражаться за советскую власть, то мой отец пошел сражаться именно за советскую власть. И это он мне очень понятно объяснил перед уходом, я не думаю, чтобы он мне тогда врал, даже из охранительных соображений, когда он уходил на фронт. И оттуда он не вернулся. Поэтому у меня не было возможности поговорить с ним потом и узнать, как он воспринял 1937 год и почему он простил советской власти 1937 год. Просто он не все понял или он, несмотря на это, простил, я не знаю. Он не вернулся.

Тогда мне было всего 14 лет. Я уже была в общественном отношении очень активный человек. Я была очень патриотично настроена. Я согласна с Вами, что это потом перебежчики придумали, что Россия голосовала ногами и т.д., потому что я сама видела, что действительно был так называемый всенародный подъем и для людей было важнее, чем свою жизнь, отстоять независимость, я все это видела. Может быть, вот эти четыре военных года, когда я

стала взрослее, я стала что-то соображать и действительно могла самостоятельно участвовать в общественной жизни, оказали влияние на все остальное мое отношение к ней, на мое требование к ней, потому что во время войны возможность искреннего участия в общественной жизни и проявления какой-то не запланированной официально инициативы была гораздо больше, чем и до, и после. Это все были, конечно, маленькие должности, поскольку я была совсем маленькая, но я, например, после 7 класса ушла из школы, работала в райкоме комсомола.

Я там была технический секретарь, я должна была перепечатывать протоколы и т.д. Нас всего было три человека в райкоме комсомола, и поскольку я что-то соображала, то поздними вечерами я выполняла свои технические обязанности, а днем я проводила собрания, делала то же самое, что делали первый и второй секретари райкома, в менее ответственных местах. И я год там проработала. А потом приехали в Москву, пошла в школу. И я так тосковала после райкома, что я опять учусь и ничего не делаю.

Потом я кончила курсы медсестер и хотела попасть на фронт, но мне не было 18 лет, меня не взяли. Потом я пошла по комсомольскому набору строить метростроевскую станцию, которая теперь называется "Семеновская", а тогда называлась "Сталинская". Это было совершенно добровольно, это была очень тяжелая работа. Это было в 1944 году. Я работала откатчицей, катала вагонетки, это было очень тяжело, но я считала, что как же так, в такое время... Наоборот, у меня было даже удовлетворение, что я

так выкладываюсь, что уж сильнее не могу. Действительно, изо всех моих сил...

Дело было не только в той работе, которую я выполняла, а как-то я все это сопереживала. И война совпала с окончанием школы, как раз в мае, когда война кончилась, я сдавала выпускные экзамены. И я пошла на исторический факультет. Ну, в общем я себе все очень идеально представляла тогда. То, что было худо, то, что было бедно, – ну, так война же. И потом я же не видала, как живут другие.

Ну, а ложь пропаганды Вы замечали?

Я не замечала. Я с одинаковым энтузиазмом воспринимала и лозунги вполне коммунистические, и даже национальные. Вот, например, когда они нам писали про всякие березки, сверху спускали, у меня это тоже не вызывало возражений, потому что такие чувства, может быть, не так вульгарно, в общем-то я сама испытывала. Я помню, как я бесилась в эвакуации, когда думала, что возможно, что немцы войдут в Москву. Я просто чувствовала, что я жить не смогу, что я должна ехать, как Зоя Космодемьянская, не знаю, устраивать диверсии или еще что-нибудь; никак нельзя допустить, чтобы чужие были в моем родном городе. И тут было очень трудно отделить советские идеалы от национальных, я не делала этого просто.

У меня во время войны не было никаких претензий к властям. Я никогда не думала, что нас разгромят, я не понимала, что так тяжело положение, я верила в то, что мы победим. А стало

меня все это тревожить после 18 лет, уже в институте. Потому что я попала в очень мерзкую обстановку, на истфаке было очень много людей, которые без конкурса поступили, потому что они были демобилизованы из армии. На истфак пошли люди в большом количестве, которые в армии были комсомольскими и партийными начальниками, вкусили этого, решили остаться партийными начальниками же и для этого пойти получить образование. И истфак был для них самое подходящее место. Они очень определяли атмосферу на факультете, они были в партбюро и в комсомольском бюро, они были старше нас по возрасту. Мы-то были десятиклассники, а они — люди, прошедшие войну. Они очень хорошо знали, чего они хотят, в отличие от нас. И мы очень распадались на две очень заметные группы. И атмосфера у нас была очень советская и очень послевоенная, отвратительная, со всей ложью, со всем цинизмом, со всей наглой пропагандой, с персональными делами на каждом собрании, мерзкими.

Вот, например, мое собственное персональное дело. Когда мы были в археологической экспедиции... Они меня настолько забили, эти партийцы, что я решила заняться археологией вместо того, чтобы заниматься русской историей, для чего я, собственно, и пошла на истфак. А тут я решила от них убежать в археологию. И в археологической экспедиции был мой день рождения, я пригласила всю экспедицию, там пели песни, и среди них была такая шуточная песня про австралийских каторжников:

На берегу одной реки
Сидел известный пионер
И топором по головам
Рубил туды и растуды.

Как известно, австралийскими пионерами были каторжники. А кроме того, мы читали стихи, и я, не объявляя автора, считая, что все достаточно понимают, прочла одно из своих любимых, а именно – монолог Демона "Клянусь я первым днем творенья, клянусь его последним днем". А когда я приехала в Москву, то в первый же день меня вызвали в комсомольское бюро и сказали, что я, во-первых, читала стихи Ахматовой – та дура, которая донесла, перепутала с "Но клянусь я ангельским садом, чудотворной иконой клянусь", и потом, что я клевещу на пионерскую организацию, потому что хотя мы пели хором, но я в этом участвовала – "На берегу родной реки сидел известный пионер", не "одной", а "родной", поэтому это не про Австралию, а про нас. И было персональное дело. Правда, это был удивительный случай, когда несколько человек заступились, потому что обычно все боялись и молчали. И кончилось тем, что мне вынесли строгий выговор с предупреждением, а не исключили из комсомола, как обычно кончались такие дела. Записали – "за аполитичность, выразившуюся в чтении стихов Ахматовой". Хотя я доказала, что это были стихи не Ахматовой. Я прочла ей наизусть и спросила: "Я это читала?" Она говорит: "Да". Они все опустили глаза.

Да, почему они на меня с этим налетели. Потому что на последнем комсомольском собра-

нии перед отъездом в экспедицию было дело такой Стеллы Дворкис, которая была близка к студийцам из еврейского театра. Это – лето 1949 года. Она была на вечернем факультете, потому что она была еврейкой и не смогла пройти на дневное. И она сказала кому-то, что она мечтала поступить в институт восточных языков и не попала из-за того, что она еврейка. Ну, донесли, как всегда, и было ее персональное дело. И я бесилась все собрание, тем более что перед этим было еще персональное дело такого Жаворонкова, который высказывал настолько такие хамские антисемитские вещи, что пришлось дать ему выговор за антисемитизм. Это было за два собрания до этого, до Стеллы Дворкис. А собрание по делу Дворкис было отвратительным, они подготовили нескольких евреев, которые выходили на трибуну, и жалко было смотреть, с каким видом говорили, что, вот, мы евреи, и тем не менее мы ее осуждаем, потому что антисемитизм и сионизм – это две стороны одной и той же медали, мы должны быть суровы к сионистам и т.д. И под конец собрания я не выдержала и задала вопрос -- выступила, по-моему, это единственный раз, когда я выступала на комсомольском собрании на нашем факультете, задала вопрос: "Если здесь все время говорят, что антисемитизм и сионизм – две стороны одной и той же медали, я с этим совершенно согласна, почему же Жаворонкову вынесли выговор, а Стеллу Дворкис исключаем из комсомола и просим, чтобы исключили из университета? Давайте ей тоже вынесем вы-

говор". И когда я это сказала, все бюро, которое сидело за столом президиума, они буквально, во-первых, заорали все, в том числе и собрание, и я оказалась среди каких-то перекошенных от злобы рыл, которые на меня со всех сторон смотрели, и они мне крикнули: "Мы еще посмотрим, что ты сама собой представляешь!" И поэтому, видимо, было велено следить за мной в экспедиции и собрать на меня материал. Ну, вот они и собрали.

И антисемитские кампании, которые были два раза за время, что я была в университете, помогли что-то понять. У нас были и студенты-евреи, и профессора-евреи. И я прекрасно понимала, что идет антисемитская кампания, это нельзя было не понимать. И я беспомощно в этом барахталась, я думала: ну как же так, ведь в программе партии записано, что генеральная линия – это интернационализм, а здесь ведется антисемитская пропаганда. И я понимала, что она сверху инспирируется. И я ничего не могла понять.

И вот у меня в эти университетские годы и созрела такая модель, что большинство в партии – люди, которые расчищают себе места. И что среди них достаточно могущественные люди, чтобы даже сверху инспирировать. Я не знаю, как я к Сталину относилась, понимала ли я, что это его личные указания. Я как-то очень стеснялась всегда того, что я никак к нему не могу относиться, так как столько про него всякого говорили, что у меня как-то не было ощущения его как человека, он как-то для меня не был живой фигурой.

И еще вот что – бедность крестьянская, даже не столько московская. Когда выезжаешь из Москвы, они же там просто голодные. И я думала, с одной стороны – без конца пишут о расцвете нашего сельского хозяйства, но я же вижу, что никакой не расцвет, а ужас какой-то творится. Вот это меня, вот эта ложь официальной пропаганды и несоответствие ее тому, что я видела, меня это просто стало ранить. Я опять говорю – это только к концу университета. Сначала я просто отошла и вообще ничем не хотела заниматься, решила заниматься археологией и не участвовать во всей этой гадости: ну, наверное, мир хуже, чем я его себе представляла до сих пор. А потом все-таки не удержалась, и так как мне трудно было в силу деятельной моей натуры от жизни отойти, то я себе придумала путь, по-видимому, придумала в какой-то мере. Сама я считала себя искренней.

Никакие карьерные соображения не играли роли?

Нет, нет. Это честно, этого никогда не было. И примерно два года я геройствовала, вступив в партию. 1952 и 1953 гг. – это "чудные" годы были в нашей жизни. Но я стала делать неожиданно быструю карьеру, не прикладывая к этому ни малейших усилий. Я стала сначала лектором обкома комсомола, а потом, буквально через месяц после того, как стала лектором, мне предложили быть руководителем общественно-политической секцией. У меня было 40 лекторов под началом. А к концу года они мне пред-

ложили уйти из училища и работать инструктором обкома комсомола, это уже номенклатурная должность. К счастью, к этому времени я уже поняла, что карьеру-то я сделаю, но ничего более, и отказалась. Потому что к этому времени меня уже совершенно загрызли сомнения и я понимала, что так ничего не исправишь.

И я решила другое. К этому времени истекали три года, которые я должна была отработать после окончания университета, я их отработала в училище. И после этого я, вместо того чтобы пойти в инструкторы, пошла в аспирантуру на отделение истории партии, потому что я решила, что чего-то я не понимаю, наверно, от неграмотности, ведь я как археолог кончила, и поэтому, хоть и много нас дрессировали всех на истфаке, в том числе и археологов, на эту тему, но все-таки я сочла, что я недостаточно во всем этом разбираюсь и что мне надо эти три года для того, чтобы я могла — ведь тогда самиздата не было — почитать Маркса, Ленина и вообще все, что я смогу достать. Меня всякие вопросы волновали уже, а кроме этих книг ничего не было, это была единственная возможность попытаться разобраться — читать их самих.

Кроме Толи Марченко я знаю только саму себя, которая прочла всего Ленина, начав с первого тома и кончив последним. И я должна сказать, что, дойдя до 1917 года примерно, а тома расположены в хронологическом порядке, я уже стала законченной антикоммунисткой. Вот на истфаке очень много всякого марксизма читать

надо было, там к каждому семинару советуют определенные произведения читать. И, конечно, их каждый раз подбирают так, что они в русле нынешней политики, и поэтому нет ощущения расхождения. Ты читаешь это в газетах и это же читаешь в рекомендованных текстах. Конечно, читать больше чем рекомендовали по марксизму-ленинизму я не пыталась в студенческие годы, хотя училась я честно и все, что велели читать, я читала. А тут я читала подряд. И надо сказать, что читать Ленина подряд — это очень увлекательное занятие и очень поучительное, потому что он ведь, когда все это говорил, он говорил не для потомков, он делал политику, он работал над достижением своих целей. И это прет из каждого его произведения. И когда читаешь подряд, и его цели, и он сам, и время, в которое он действовал, очень живо ощущаются.

Опасно ли, если мы опубликуем, что, дойдя до 1917 года в чтении Ленина, Вы стали антикоммунисткой?

Почему же опасно? Я это очень даже утверждаю.

Не запретят ли Ленина?..

Если запретят, будет ли это такая большая потеря? Сейчас же есть самиздат. Я думаю, если бы был самиздат, я бы лучше "Новый класс" Джиласа прочла, это быстрее был бы путь, чем 35 томов читать. А потом к этому времени как раз поставили на полку в научных библи-

отеках книги, которые, когда я была студенткой, были под запретом. Это – стенограммы съездов партийных. И я ходила в ленинскую читалку. Я поступила в 1953 году в аспирантуру, как раз в год смерти Сталина. И вот в 1954-м я читала эти стенограммы. Это тоже, надо сказать, увлекательное чтение, это все как живое встает. Никакое историческое исследование не даст такого чувства, как все это происходило, как когда это все подряд читаешь. Во-первых, эти фамилии расстрелянных, которые мы только слыхали, которые все сливались в одно, как отличить Радека от Пятакова – было непонятно, а тут сразу стало понятно, что это разные люди, что сталкивались разные точки зрения, из-за чего люди спорили и т.д., кто умен, кто поглупее, это все очень чувствовалось. И здесь было, конечно, ясно, по прочтении всего этого, что никакое это не вредительство; что расстреляли людей, которые просто придерживались другой точки зрения. И потом вот этот очень меняющийся тон съездов, на подхалимский, на более осторожный, на славословие – это так из тома в том чувствуется. Никакое историческое исследование не передаст того, что делалось в стране, как такое чтение. Я это все поняла без всякого самиздата, это само собой происходит, просто читаешь.

Но партия – это не то учреждение, из которого, войдя, можно выйти. Т.е. можно, наверное. Я не написала диссертации. Я кончила аспирантуру, но я бросила писать свою диссертацию. Меня оставляли в том же институте преподавать

марксизм на кафедре, где я была аспиранткой. Мне же всю жизнь везло из-за того, что я мало того что член партии, я ж еще и русская. Мне сказали, что они не могут меня оформить в штат, потому что у них нет свободной должности, но чтобы я приходила с сентября месяца на почасовую, так как к концу следующего года уходит на пенсию одна из преподавательниц, и тогда они меня возьмут в штат. А я просто не пошла в сентябре в институт, потому что преподавать марксизм к концу аспирантуры я уже была совершенно не в состоянии.

Ну, очень во всем этом меня подтолкнуло дело Берии, а не XX съезд, потому что о деле Берии читали на городском активе партийном. Я сама там не была, но я знала пересказ человека, который там был, очень подробный. И надо сказать, что это звучало, наверное, страшнее, чем то, что рассказывали на XX съезде, потому что было видно, что это просто банда разбойников, дорвавшихся до власти, которым совершенно безразличны всякие эти марксистские штучки, которые никакой программы, теории даже не помнят и не думают о ней. Это очень ощущалось по этому документу, и в общем это уже легло на вполне готовую почву.

Мы подробно обсудили Ваше просветление. А вот когда Вы говорите об ответственности, за что Вы ее чувствуете? Вы что, кого-то осуждали, голосовали за чей-то расстрел, на кого-то доносили?

Я не голосовала ни за чей расстрел, у меня не было таких событий, в которых я сама бы дурно поступала. Ну, если были, то можно было отнестись к ним комически. Например, я в училище ремесленном вела кружок по изучению биографии Сталина. Как известно, эта книжка очень скучно написана. Пытались внедрить эти кружки в ремесленном училище, где ребята с пятью-шестью классами образования, где эту скучищу и тягомотину, написанную таким вот партийным языком, просто не в состоянии понять. И я вела этот кружок, просто потому, что по должности было положено это преподавателю истории. Так как человек я очень добросовестный, то я очень страдала, что как же это так, такой ведь скучный текст невозможно ребятам изложить, я готовилась к занятиям кружка наравне, может, даже и больше, с уроками, потому что уроки легче было приготовить интересно и понятно. Я ходила в Историческую библиотеку и буквально весь свой свободный день готовила очередное занятие, придумывала, как рассказать, и все такое.

На кружок они приходили, не разбегались, хотя бы потому, что я их учительница и они меня боялись. Относились к этому тоже почти как к уроку. И пришел ко мне какой-то человек из горкома комсомола на это занятие, отсидел, это дело обычное, потом меня попросили написать о том, как я веду этот кружок, в "Московский комсомолец". Я написала. Мне стали переделывать эту статью таким образом, что они, занимаясь в кружке по изучению биографии

Сталина, настолько были вдохновлены, что из плохой группы превратились в хорошую. А эта группа действительно из плохой превратилась в хорошую, там очень мастер оказался хороший, талантливый педагог, и я с удивлением смотрела, как он из этих свинят делает людей. А я там была руководителем кружка. И я написала, что это мастер сделал, а они это приписали кружку. Но я отказалась подписывать и очень боялась, что это пойдет в печать под моим именем, потому что мне было стыдно перед ребятами, это ж была ложь. Но мне повезло – когда я отказалась подписывать, это не пустили в печать, в общем тут я отстояла.

Потом было совещание городское, и меня пригласили рассказать, как я этот кружок веду. Я все время говорила, что кружок как кружок, ничего там особенного, ну, просят – я рассказала. А потом в перерыве меня окружила группа преподавателей, и я вижу, что они смотрят на меня с такой буквально ненавистью. И говорят: "Вы неправду сказали, что ребята слушают, что ребята ходят на эти кружки и что ребята усваивают, это неправда, они не могут это усвоить". Оказывается, я не знала, оказывается, люди с большим риском для себя настаивали на том, что невозможно детям такого возраста и с таким образованием преподавать биографию Сталина, по этой книжке – тем более. А меня им показывали как пример, доказывающий, что можно. И из-за того, что у меня кружок

худо-бедно существовал, держались кружки в ремесленных училищах. Т.е. я выступала как бы штрейкбрехером, сама этого не понимая, не понимая своей роли. Потом уже как-то я встретилась с человеком, для которого я писала эту статью в "Московский комсомолец", и он мне рассказал, чем была вызвана эта статья, почему меня просили ее писать, и все такое. Ну, вот, у меня были вот такие грехи. Хотя, конечно, нехорошо.

Тогда в чем же Ваша ответственность?

А все поколение несет ответственность, все равно. Все мы несем ответственность. За то, что мы не разобрались, за то, что мы повторяли эти лозунги, за то, что да, я тем более, я не только повторяла, я была октябренком, пионером, комсомольцем, членом партии.

За октябрят Вы тоже несете ответственность?

За все несу. Не за все в частности, а за все. Потому что ведь наше поколение, пусть я была только частицей этой силы, но я была ею, пусть и не до конца осознанной. Конечно, моя ответственность меньше, чем ответственность Берии, есть какие-то мерила, но, тем не менее, вот я считаю, что нельзя говорить, что виноваты только те, кто сидел в Нюрнберге на скамье подсудимых. Есть вина немцев. Потому что, наверное, если быть ответственным в гражданском отношении, можно было что-то додумать раньше, чем я додумала.

При том, что Вы не делали плохих вещей, Вы ответственны, поскольку Вы не созрели раньше. Следовательно, Вы ответственны меньше, чем те, кто прозрел позже? Мне все, почти все говорят – да, ответственны, а я хочу понять, за что же. И в какой мере.

Я согласна абсолютно с тем, что ни меня, ни других людей, не сделавших зла непосредственно, не участвовавших в расстрелах, в доносительстве и так далее, нельзя привлекать к уголовной ответственности, это – ответственность моральная, несомненно. Моральная вина – это вещь, которую нельзя предъявлять каждому отдельному человеку, но которую должен каждый отдельный человек сам чувствовать. Как принадлежащий к этому поколению. Это для меня какая-то безусловная вещь, я не знаю, как это объяснить.

Такие вещи вполне могут быть иррациональными. Я понимаю, что здесь мы не говорим о юридических вещах, которые сформулировать иногда трудно, но все-таки легче. Это надо почувствовать.

Мы ответственны, как всякая частица целого. Мы ответственны за все, что делается. У меня и сейчас бывает, у меня нету этого ощущения отстранения, мне и сейчас бывает тяжко, когда Советский Союз делает что-то дурное, потому что это – наша страна.

А вот, скажем, латыши ответственны за то, что латышские стрелки участвовали в револю-

ции? По-моему, это вопрос, который был поднят в сборнике "Из-под глыб".

Свинство – говорить нам, что латыши ответственны. Но латыш, порядочный латыш, должен это чувствовать.

Серьезно?

Да. Так, как я чувствую свою вину за то, что делают русские.

Кстати, латышские стрелки были не чем иным, как мирными латышскими крестьянами, которых непонятно, ни с того ни с сего вытащили в стрелки бороться с немцами, которые, кстати, к латышам гораздо ближе, чем русский царь. Их еще при царе вытащили. И потом эти латыши оказались в этой революционной мясорубке исполнителями. Если латыш сейчас будет чувствовать ответственность за них, так почему татары теперь не должны чувствовать ответственность за татарское иго?

Я не знаю. Наверное, какой-то срок давности все-таки существует. У меня нет ощущения, скажем, что как мы нехорошо поступали, скажем, с народами Средней Азии, когда мы когда-то завоевывали Среднюю Азию.

А может, это расистское чувство? Дескать, Средняя Азия – малокультурное место ...

Нет. Не из-за этого. Просто как-то это дело времени.

Это совсем недавно было, басмачи сопротивлялись еще в 30-х годах.

Нет, я имею в виду скобелевские завоевания, скажем. А все, что в живой истории, меня трогает. Вот за коллективизацию мне стыдно. И за голод на Украине мне стыдно.

Как-то мы с мужем оказались в Эстонии, не созвонившись и не списавшись со своими приятелями. Это было в майские праздники, и нам надо было пойти куда-то есть. Мы зашли в кафе, большое привокзальное кафе в Таллине. И хотели просто поесть. Там было много столиков, но за каждым столиком сидели один или два человека, а два места были свободны. И подходили к каждому и, естественно, по-русски спрашивали, можно ли нам сесть сюда. А нам говорили: "Нет, здесь занято". И мы видели, что это неправда, нам всюду сказали одно и то же. Коля пришел в ярость и говорит, что мы должны пожаловаться администратору. А мне это доставило удовольствие, я говорю: "Слушай, мы здесь – оккупанты, и поэтому к нам так относятся, и молодцы, что так относятся, потому что худо, если люди к оккупантам относятся приветливо". И я, знаете, что вспомнила? Я вспомнила вот то чувство, совершенно непереносимое, когда я думала, что вдруг немцы войдут в Москву. А вот мы к эстонцам вошли. И хотя мне было неприятно, что они меня ненавидят из-за того, что я русская, они выросли в моих глазах, вот они молодцы, что они нас за свой стол не пускают.

ЛЕОНИД ТАРАСЮК

Я считаю, что и отцы наши ответственны, потому что то, что мы получили, было ненамного лучше того, что мы имеем сейчас. Но, безусловно, отвечая прямо на Ваш вопрос, я считаю, что мое поколение внесло свою лепту в создание этой картины, хорошо нам известной по сегодняшнему дню. И я считаю, что причастны в той или иной мере все. За исключением, ну, разве лагерников, которые сели в 1917, 1918, 1919 годах и просидели до сих пор, они погибли там, эти, конечно, нет. Но вот у меня есть пример моего близкого родственника, который провел 19 лет в лагерях, он вышел только в 1947 году. Все самые страшные годы, с 1929, короче говоря, он провел в лагере. Это верно, конечно. Но я считаю его тоже ответственным, я много раз спорил с ним по этому поводу, потому что в 1917, 1918, 1919 годах он воевал на фронтах, правда, в составе специальных формирований своей партии — анархистов, анархо-синдикалистов. Но я его тоже считаю ответственным.

Безусловно, считаю и себя ответственным, хотя я ничего, мне кажется, не сделал, чего можно было не сделать непосредственно для советской власти. Работал я в музейной области. Но тем не менее я вступал в контакты с иностранными специалистами, я создавал просто своим присутствием в советском музее впечатление, что мы такие же, как все остальные, ино-

гда даже я невольно старался сгладить неприятное впечатление от того или иного явления в нашей области, музейной. Так что я тоже причастен к этому.

Случалось ли Вам участвовать в каких-то собраниях, где кто-то предавался осуждению, и голосовать?

Нет. Мне повезло. Я уклонялся от таких собраний. Мне приятно сказать самому себе, что я осуществлял призыв Солженицына раньше, чем я его услышал, потому что я старался избегать участия в таких сборищах, больше того, мне уж так повезло просто, что после выхода из лагеря, зная мой необузданный нрав и боясь каких-нибудь выходок, меня, правда, на такие собрания не звали. А до лагеря я ходил в таких аполитичных, знаете.

Конечно, я ответственен. Я был, во-первых, председателем ДОСААФ в Эрмитаже. Что-то я делал. Но все это сводилось, в основном, к собиранию членских взносов, но это тоже что-то. Участие во всяких соревнованиях, где было много спорта и мало политики. Но тем не менее я себя считаю тоже ответственным.

Как далеко идет это чувство ответственности? То, что Вы были в ДОСААФ в своем учреждении, означает ли, что Вы разделяете ответственность за вторжение в Афганистан?

Я бы сказал, что я что-то делал все-таки в рамках того, что требовалось советской властью, вот так. Это, конечно, было, по чести говоря,

немногое, это вряд ли укрепляло даже военную машину советскую, потому что я работал в основном с бабушками из охраны. Я им читал, что нужно делать, если, например, на их глазах взорвется атомная бомба. Ну, как вести себя в таких случаях. Вот такие у меня были функции. Ну, иногда мы выезжали на тушение пожаров, которые устраивали специалисты-пожарники. В основном это было все. Так что я не считаю себя ответственным за Афганистан, я не считаю себя ответственным за Венгрию, более того, за осуждение того, что происходило в Венгрии, того, что творили там советские войска, я получил свое в лагерях, у меня это в приговоре есть. Так что нет, я не считаю себя ответственным за это.

Сам я не был членом партии. Я не был даже комсомольцем. Как-то мне претило, ну, я не знаю, я общительный человек, и в то же время мне было неприятно участвовать в этих собраниях, мероприятиях так называемых, где было слишком много фальшивого пафоса, каких-то лозунгов, мне это очень не нравилось все. Прежде всего поэтому. Это не потому, что я был с самого рождения активным врагом советской власти, отнюдь нет. Просто мне неприятны были эти формы, мне виделось в них много наигранности, лицемерия, фальши. И я старался держаться в стороне.

О Вас известно, что, в отличие от других, Вы планировали прямое сопротивление власти.

Я должен, к стыду своему, сказать, что эти мысли у меня возникли в связи с определенной обстановкой, которая могла развиться в другую, непосредственно угрожающую моей шкуре или, во всяком случае, людям, которые мне были близки. Это не было просто восстание против всеобщей несправедливости существующего строя. Но когда эти несправедливости, как мне представлялось, стали угрожать и свободе, и самой жизни, и достоинству моему и моих близких, да, я решил сопротивляться.

Я знал к тому времени очень хорошо судьбу евреев Германии, которые в Германии, в Восточной Европе уже только под угрозой неминуемого, уже ясно очерченного уничтожения нашли в себе силы восстать, как это было, например, в Варшавском гетто. Я не хотел заводить дело так далеко, но я хотел подготовиться и сопротивляться.

Это не секрет, это все в делах КГБ давно. Дело в том, что, вообще говоря, на все сущее мне раскрыла глаза, во многом во всяком случае, моя вынужденная командировка за границу в 1945 году, когда я очутился в составе Советской Армии в Восточной Европе. Я побывал в четырех странах, я увидел и сравнил увиденное с тем, что мне преподносилось в СССР в школьных учебниках и другими путями о жизни в так называемых капиталистических странах, и т.д. Так что я приехал порядком подпорченный с этой точки зрения, с точки зрения советской власти. И, конечно, я очень внимательно стал присматриваться к тому, что происходит на мо-

ей родине. Это был такой процесс самообразования. Эти наблюдения, конечно, и привели меня к оппозиционным взглядам.

Когда антисемитские черты кампании против космополитов стали достаточно ясно обрисовываться, я стал интересоваться специально, и по разного рода каналам, в основном, каналам партийным, благодаря хорошим отношениям с разными людьми, я получил уже конкретную информацию о том, что готовится депортация евреев, вероятно – с запланированной гибелью значительного числа депортированных.

Это было в 1949-1950 и в последующие годы. Я получал все больше и больше информации весьма конкретной, вплоть до того, что списки составляются, вплоть до того, что поезда готовятся. И многое я получил из источников настолько достоверных, что не приходилось сомневаться. Например, одну передачу я слышал просто по радиостанции Объединенных Наций, когда г-ну Вышинскому задали вопрос, для кого строятся лагеря там, на Дальнем Востоке, а он ответил, что он не министр строительства и вопрос, так сказать, не по адресу.

Так что, видите, все вместе начертало передо мной и моим кузеном и большим другом совершенно определенную картину, и мы решили сначала попытаться организовать какую-то широкую самооборону, пытаться спастись не вдвоем, у нас даже и мысли сначала не было такой, а просто организоваться. Но наши попытки натолкнулись, как я думаю теперь, задним числом, на нежелание верить, а не просто недоверие; это

было чувство отвращения к такого рода информации, потому что с ней был связан парализующий страх, даже ужас перед тем, что, возможно, наступало. Короче говоря, наши попытки организовать сопротивление на какой-то широкой базе не встретили никакого отклика. Лишь два человека, которых я знал с детства, примкнули к нам.

Тогда мы решили спасти, по крайней мере, тех, кто желает спастись. Идея у нас была такая. Мы сами не верили до конца. Хотя мы были очень воодушевлены, но воодушевление это проистекало из других причин. Сами мы глубоко не верили, что мы сумеем до конца выстоять, что мы сумеем спастись. Однако вот, из чего проистекало наше воодушевление: мы понимали, что мы не идем тем путем, каким идут наши трусливые соотечественники, что мы, вероятно, умрем, но по крайней мере мы умрем не как бараны, не в скотских вагонах, не под прикладами конвоиров, не от голода в каких-нибудь бараках на Дальнем Востоке, а мы умрем с оружием в руках, короче говоря, как люди, с достоинством.

Вот мы и спланировали. Теперь, много лет спустя, я бы сказал, к удивлению своему, мы это осуществили, мы создали такие базы, создали склады в Крыму в пещерах; запаслись оружием, запаслись всем необходимым, приемником. Мы все это сделали. Это было физически очень трудно, это требовало колоссального физического напряжения, потому что надо же было делать это все скрыто, это же было еще

при Сталине. Потом какая-то чехарда непонятная наступила, врачей арестованных выпустили, выпустил Берия, Берию арестовали и расстреляли, в общем, не было у нас чувства уверенности, что этот план оставлен правительством. И поэтому мы довели все-таки это дело до конца, и я сейчас об этом не жалею, хотя потом мне пришлось, конечно, расплатиться и тюремным заключением, и смертью отца, и вообще полным разорением нашей семейной жизни. Мать стала инвалидом. Но я не жалею. Это было чудное время, потому что я никогда в такой степени не чувствовал себя человеком, достойным свободы, я был готов за нее умереть.

Когда меня арестовали, я был потрясен также реакцией людей — моих коллег по Эрмитажу, сотрудников Академии наук, наконец — спортсменов Ленинграда и Москвы, которые написали целый ряд писем. Учтите, это был 1959 год, но все-таки в наших условиях организоваться, пойти на это... Я знаю, что несколько человек — членов партии подписали такие письма в мою защиту. Дело ведь в том, что эти убогие детективы, наши нат-пинкертоны, конечно, ничего другого не нашли остроумнее или ничего лучшего, как объявить меня шпионом и диверсантом. И вот в это те, кто меня знал, конечно, не поверили, включая и членов партии. Все, что угодно, да, я мог бы там сболтнуть, язык был подвешен кое-как, я мог и сказать что-нибудь, и анекдот рассказать, и посмеяться, поиздеваться, но что я был шпионом и еще тем более диверсантом — в это никто не верил. Потому люди смело

подписывали, отрицая это. Да, признавали за мной еще известное по университетским временам ветрогонство, меня чуть тогда не исключили из университета за то, что я не так одевался и не так выражался, это дело другое. Но во всяком случае – не шпион.

Скажите, пожалуйста, как Вы относитесь к людям, которые, считая, что они могут делать добро, вступают в партию, строят карьеру, чтобы собой улучшить эту систему?

По чести говоря, мне это объяснение представляется весьма прагматическим. Оно прагматическое, оно выглядит иногда даже довольно убедительно. Но мне кажется, что большую роль в этом, может быть, даже и главную роль играет желание найти оправдание в своей душе и перед лицом тех людей, которых они уважают, за то, что они примкнули формально к партии. Я не особенно верю.

Ну, а что было делать людям? Вы, когда поняли угрозу, нависшую над Вами и над Вашим народом, Вы подготовили самооборону. А что было делать людям, если они не принимали, если они не хотели соучаствовать, что они могли делать?

Вы знаете, в этом отношении мне представляется в высшей степени благородным, хотя и далеко не всегда осуществимым, совет Солженицына – по крайней мере не соучаствовать в этой великой лжи, по возможности уходить от этого.

Ну, не брать винтовку, не выступать на собрании с призывом к другим поступать точно так же, но самому хотя бы не участвовать. Не ходить на эти постыдные сборища, не голосовать за то, что, ты чувствуешь, является явно несправедливым, неправильным.

Тогда соучастие будет, по крайней мере, меньше. Но если ты тянешь руку за явно неправедное дело, то ты прямой соучастник. Если ты только занимаешься, ну, я не знаю, своей скромной работой в мирной области и не участвуешь в том, что они называют политической жизнью, конечно, степень соучастия меньше. Хотя, повторяю, полностью в СССР избегнуть соучастия, мне кажется, просто невозможно. И, конечно, я, например, даже для не членов партии никакого оправдания не вижу в том случае, если они занимаются, например, прямой военной работой. Тут, мне кажется, оправдания нет, если тем более человек, как это очень часто бывало, я знал таких людей, слишком умен, слишком развит, даже слишком информирован, чтобы не понимать, куда в конечном счете идут плоды его труда.

Но мне представляется, что в условиях СССР элементарное, что можно сделать, не рискуя попасть на каторгу, хотя и рискуя, конечно, определенными неприятностями, это не участвовать в том, что они называют общественно-политической жизнью. Но это элементарный шаг, мне кажется, на который все-таки многие могли бы пойти, ничем особенно не рискуя, особенно в тех случаях, конечно, если человек во всех

остальных отношениях ценный сотрудник, хорошо справляется с работой и все прочее. Но, к сожалению, мне приходилось очень мало таких людей наблюдать. Больше того, я видел людей, которые, я совершенно точно знаю, являются яростными антисоветчиками, они отлично все понимают, и тем не менее они идут, послушно поднимают руку "за".

АЛЕКСАНДР ЕСЕНИН-ВОЛЬПИН

Я не думаю, чтобы кто-нибудь мог быть ответственен только в силу того, что вокруг происходят те или иные вещи, в которых он лично не участвует. Люди рождаются в конце концов не обремененные обязанностями в любое время. Так что для того, чтобы нести ответственность, надо не просто присутствовать. Кроме того, ответственность ответственности рознь. Тем не менее верно, что если человек может хотя бы словом высказать свое отношение к событиям, но предпочитает молчать, то это, при прочих равных, конечно, характеризует его как морально пассивного человека, по меньшей мере.

На самом деле, однако, сталинское время не было сплошным единым временем, но бывали в нем такие периоды, когда молчать просто никому особенно и не давали. Ну, конечно, кто-то там мог молчать, но стоило человеку слегка оказаться на примете у тех, кто занимался воспитанием, и у него брали бы интервью покрепче этого. И в ходе этого интервью ему пришлось бы что-то произнести, от чего порядочные люди краснеют. Вот в чем дело. Хотя, конечно, где-нибудь, в отдаленной провинции, можно предположить, кто-нибудь годами мог жить, не замечая, что и там правит Сталин.

Когда спрашивается об ответственности, то спрашивается об ответственности "за что".

Так если просто кто-то где-то жил в стороне от событий, то я не вижу, в чем этого человека можно упрекнуть.

Считаете ли Вы себя соучаствовавшим в том, что творилось в то время, с тех пор, как Вы стали сознательным человеком?

Думаю, что нет. По-моему, у меня в этом смысле все было хорошо. По крайней мере, с 13-летнего возраста. А раньше этого, если я и поддакнул, до того, как мне стукнуло 13-14 лет, то что говорить о таком поддакивании, я даже не в состоянии его и вспомнить. Кто к этому серьезно относится? А после этого я всегда, пока не стал диссидентом, был фрондером. Другое дело, умно ли я фрондировал.

Я никогда не был, скажем, в комсомоле. Я в школе попался на том, что, когда давал пионерское обещание... Вот такой у меня грешок был. Вот если то, что я носил пионерский галстук два года, можно ставить в упрек, то тогда и ко мне есть упрек. Мне сказали – ты принимай решение, становиться пионером или нет, только учти, что если не станешь пионером, то только в этом случае ты совершишь поступок. А готов ли ты к этому или нет? Ну, постановка вопроса была сложная, и я решил, что я выкручусь так: я встал в первый ряд, в два ряда нас построили, я встал сбоку. Учитель и какая-то вожатая стояли спереди. Правой рукой я отдавал салют, а левой показывал фигу. И я тогда увидал, что учитель это заметил, но отвернулся,

притворился, что не видит. Мне было 13 лет. Это был конец учебного года, 1937 года. На следующий год, когда мне было 14 лет, моих сверстников записывали в комсомол, и зависело это от того же самого учителя, а он, возможно, вспомнив этот поступок, возможно, что-нибудь другое, не представил меня к этой чести. Через год я уже не жалел об этом. Так меня это все миновало.

Всегда было, чем выразить недовольство. И я его выражал. Что касается непосредственно Сталина, то должен сказать, что особенным антисталинистом я и не был никогда. Мне не нравилась коммунистическая система как таковая. А там Ленин, Сталин – я считал, что я про это знаю мало, хорошего в этом мало. Мне было непонятно, зачем было совершено столько насилия во время революции, и я этому не находил оправдания.

Я замечал, что есть репрессии, но ведь нашему брату говорили, что это еще ничего, бывает и хуже. Причем на Западе, по-видимому, хуже. Я не мог этого проверить. Ничего себе вообще версия! И кроме того, непосредственно вокруг меня я часто слышал фразу: "Подожди, тебе еще рано судить. Станешь старше – тогда и будешь высказываться". Вот это я запомнил. Я поторопился стать старше, как только мог, в последний мой школьный год я уже достаточно стал прорезываться, но было не до меня, кто особенно там гонялся за каким-то десятиклассником, и так это пронесло.

Как умел, так и высказывался. Имел соответствующую репутацию. Считалось, что стану старше, и пройдет.

После этого – 1941 год, война, было не до моей крамолы. И как-то так всю войну меня и пронесло. А потом начались аресты.

Когда война кончилась, мне минуло 21. Ну, тут уже надо было держать ухо востро. Хотя, признаться, самый первый послевоенный год – вот посадили же Юрку Гастева, Леву Малкина через два месяца после войны. Этих людей я знал. Я видел, что существует опасность, надеялся, что как-нибудь пронесет, трудно было понять, в чем дело, и очень хотелось уже тогда, в 1946 году, эмигрировать.

А вот когда Вы фрондировали, это фрондерство было просто самовыражением или была мысль о какой-то социальной пользе этого?

Пока я не попал в тюрьму или даже за годполтора до этого (в 1949 году я попал)... Уже я был аспирантом, я продолжал фрондировать, но я не думал, что я слишком много знаю по социальным вопросам, я просто видел, что все это достаточно невыносимо.

Скорее я занимался самовыражением. Но, будучи спрошен в упор, за советскую власть я или против, в такой форме, я, наверное, нашел бы какую-нибудь обтекаемую формулировку. Но ведь в такой форме никто и не спрашивает. А чуть-чуть иначе – так я находил, как всегда, способ высказать критическое отношение.

О социальной роли этого Вы не думали?

Меня, вероятно, стошнило бы от этого выражения. В этом не было ничего, направленного против режима. Я ведь проповедовал бы и при лучшем режиме.

Я просто не мыслил этой категорией борьбы с режимом. Я хотел бы быть свободным, но что это значило в те годы? И единственное, что было возможно, так как машины времени нет, то оставалось – вдруг как-нибудь когда-нибудь можно будет эмигрировать. Но в то время такой возможности не было.

Мне иногда говорили, особенно старшие: "Если ты так думаешь, то займись борьбой". Но было очевидно, что результаты могут быть только мизерные, не оправдывающие риска.

Я говорил со многими людьми. И большинство мне говорит так, что да, все несут ответственность, и те, кто молчал, и те, кто был в стороне, и те, кто делал что-то плохое. Все – соучастники. Не кажется ли Вам странной такая постановка вопроса об ответственности, о такой коллективной ответственности поколения?

Такая постановка естественна, как реакция на то, что происходило. Но если вдуматься, то она несколько преувеличена.

Безусловно, они могут считать себя ответственными, но для этого надо чем-то содействовать режиму. Я просто не считаю, что достаточно было жить в то время, чтобы уже и содействовать. Если кто-нибудь на выборах голосо-

вал, скажем, "за" прежде, чем разобраться, надо ли голосовать, то этим он нисколько не содействовал.

Я раза два проголосовал положительно, хотя высказался, как умел, чрезмерной продолжительностью стояния, слишком демонстративно рвался в кабинку. Но я внутренне не находил причин голосовать "против". Ни "за", ни "против". И чем какая-то там учительница Леонова, почему надо голосовать против нее? Потому что кандидат-то мне попался тот, который попался, я не знал о нем ровно ничего, ни хорошего, ни плохого. Но потом мне это надоело, и я, начиная где-то с 1947 года, как-то переменно — то их черкал, то портил бюллетень, как приходило в голову. Там еще распространялись ложные слухи, будто для того, чтобы проголосовать "против", надо вписать кого-то. На самом деле бюллетень становится таким образом недействительным. Я не сразу разобрался в этом трюке и некоторое время портил бюллетень, воображая, что голосую "против". Я не скрывал, как я голосую. Я считал, что могу голосовать как угодно. Что могу выйти из кабинки и проголосовать "против", как потом стал делать в открытую. Но это не было для меня выражением отношения к системе.

Бывают случаи или бывали случаи, когда люди, желая делать добрые дела, пытались собою улучшить эту систему, шли в партию, строили карьеру в надежде, что их присутствие и их добро может чему-то помочь. Как Вы к этому относитесь?

Такие случаи были, это была очень распространенная версия, получал такие советы и я сам. Для меня этот путь был неприемлем, так как я непосредственно отрицательно относился не к коммунистической системе, а к философии материализма. А коммунизм я считал побочным следствием. Для меня был неприемлем материализм, а остальное – мало ли что бывает при материализме.

Если подойти к вопросу строго формально, то, вступая в партию, человек вовсе не берет на себя никакого обязательства поддерживать эти беззакония, хотя бы потому, что они были в то же время антипартийны. Человек не берет на себя даже обязательства быть материалистом, если уж почитать устав. Такого там не сказано. И поэтому человек мог найти какую-то лазейку. Вот я не искал для себя лазейки этого типа. А кто-нибудь мог искать. Если кто-то вступал без этой лазейки, просто без этих мыслей, не каждому же думать на философские темы, опять-таки само по себе вступление, по-моему, вовсе не обязательно плохо характеризует человека, кроме одного – не слишком ли он наивен? Все-таки вступают в партию не в 15 лет, а старше. Вот вступающего в комсомол просто не в чем упрекать, если он вступает в нормальном возрасте... Вот я случайно все-таки не оказался комсомольцем в первый год. Дальше уже, продумав это, мог обрадоваться. Но в партию человек вступает в том возрасте, когда можно и не вступить. Тем не менее само по себе вступление в партию, особенно если учесть, что человек

именно о партии слышит не такие уж плохие вещи и может у него быть идея, что если бы все коммунисты были такие, как он, то было бы все иначе и что плохо что-то другое, а не сама партия. Там же есть такая концепция, так очень многие вступают под влиянием этой концепции. Может быть, это и говорит о некоторой наивности человека. Наивно, может быть, думать, что он может что-нибудь сделать. Впрочем, это не значит, что он не может пытаться, каждый может думать, что "именно я и попытаюсь". Так что одним вопросом, был членом партии или нет, нельзя ограничиваться. Представьте себе, что кто-то вступил в партию, ну, и прямо, как это бывает, сразу повел себя, как генерал Григоренко. Что же я о нем плохого скажу?

CHALIDZE PUBLICATIONS
505 Eighth Avenue,
New York, N.Y. 10018

Никита Хрущев, **Воспоминания,** карманный формат, цена – 12.00

Никита Хрущев, **Воспоминания, книга 2-я,** карманный формат, цена – 12.00

Валерий Чалидзе, **Победитель коммунизма. (Мысли о Сталине, социализме и России),** цена – 7.00

Коран. Перевод *Крачковского,* карманный формат, цена – 20.00

Петр Кушников, **Военный дневник 1917 г.,** цена – 10.00

Николай Евреинов, **История телесных наказаний в России,** цена – 15.00

Николай Валентинов, **Встречи с Лениным,** карманный формат, цена – 12.00

Валерий Чалидзе, **Иностранец в России,** юридическая памятка, карманный формат, цена – 6.00

Законодательство о религии в СССР, цена – 9.00

Петр Гарви, **Профессиональные союзы в России,** цена – 7.50

Хельсинкское движение, цена – 7.50

Николай Новиков, **Эрнст Неизвестный: искусство и реальность,** цена – 10.00

Серан Киркегор, **Наслаждение и долг.** Репринт. 420 стр., цена – 15.00

З. Авалов, **Присоединение Грузии к России,** репринт. 320 стр., цена – 15.00

$ 8.00